

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР,
ПЕРЕВЕДЕННЫЙ НА 45 ЯЗЫКОВ, ПО МОТИВАМ
КОТОРОГО СНЯТ ЗНАМЕНИТЫЙ ФИЛЬМ!



Сара Груэн

ВОДА
ДЛЯ СЛОНОВ

Сара Груэн
Вода для слонов
Серия «Азбука-бестселлер»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=320062
С. Груэн. Вода для слонов: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»; Санкт-Петербург; 2020
ISBN 978-5-389-18483-1

Аннотация

Якобу Янковскому не везет – нищий, потерявший родителей, без работы, он вынужден скитаться по Америке периода Великой депрессии, пока однажды не попадает в поезд, принадлежащий цирку братьев Бензини, «самому великолепному на земле». Здесь-то он и находит свое место под солнцем – устраивается работать ветеринаром. Так цирк на колесах становится для него, с одной стороны, спасением, с другой – воплощенным адом. Люди, похожие на зверей, звери с человеческими сердцами, мрачные, опасные тайны и, конечно, любовь. Роман имел огромный успех. В мире продано свыше 10 миллионов экземпляров. Книга стала бестселлером № 1 по версии «Нью-Йорк таймс», «Лос-Анджелес таймс», «Уолл-стрит джорнэл». В снятом по книге фильме (2011 г., режиссер Фрэнсис Лоуренс) снимались Риз Уизерспун, Роберт Паттинсон и Кристоф Вальц.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Благодарности | 5 |
| Пролог | 7 |
| Глава 1 | 14 |
| Глава 2 | 28 |
| Глава 3 | 51 |
| Глава 4 | 77 |
| Глава 5 | 99 |
| Глава 6 | 109 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 122 |

Сара Груэн

Вода для слонов

Sara Gruen

Water for Elephants

© 2006 by Sara Gruen

© М. В. Фаликман, перевод, 2007

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020

Издательство АЗБУКА®

* * *

Бобу – источнику моего вдохновения

Благодарности

Я глубоко признательна всем, кто причастен к созданию этой книги.

Моему любимому мужу Бобу – лучшему из мужчин.

Моему редактору Чаку Адамсу за его критику, пристальное внимание к подробностям и поддержку, которые вывели это повествование на новый уровень.

Моему личному критику Кристи Кирнан и первым читателям Карен Эбботт, Морин Огле, Кэтрин Паффетт (кстати сказать, моей маме) и Теренсу Бейли (отцу) за любовь и поддержку и за то, что регулярно отговаривали меня бросить эту затею.

Гэри Пейну, который отвечал на мои вопросы обо всем, что касается цирка, рассказывал цирковые истории и выверял рукопись на предмет неточностей.

Фреду Пфенингу III, Кену Харку и Тимоти Теджу за то, что любезно позволили мне использовать фотографии из их коллекций. Особое спасибо Фреду, прочитавшему рукопись и уточнившему некоторые детали.

Хейди Тейлор, помощнику секретаря Художественного музея Ринглингов, которая помогла мне решить вопрос с авторскими правами относительно фотографий, и Барбаре Фокс Маккеллар, позволившей использовать фотографии ее отца.

Марку и Карри Кабак за гостеприимство и за рассказы о служебных обязанностях Марка во время работы в городском зоопарке Канзаса.

Эндрю Валашику за помощь с переводом на польский язык.

Киту Кронину за ценные замечания по рукописи и за то, что он предложил название для книги.

Эмме Суини – просто идеальному литературному агенту.

Наконец, всем членам нашего писательского кружка: не знаю, что бы я без вас делала.

*По-моему, мысль моя очень проста:
слон верен от хобота и до хвоста¹.*

Доктор Сьюз (Теодор Гейзел). Слон Хортон ждет птенца. 1940 г.

¹ Перевод Т. Макаровой (1973).

Пролог

Под красно-белым навесом дешевой закуской оставались трое: Грейди, я и продавец. Мы с Грейди сидели за обшарпанным деревянным столом, а перед нами на помятых оловянных тарелках красовались гамбургеры. Продавец за стойкой скоблил лопаточкой сковородку. Он уже довольно давно выключил жаровню, однако вокруг продолжал витать запах жира.

Больше на ярмарочной площади, столь недавно кишевшей людьми, никого не было, если не считать нескольких здешних работников и горстки мужчин, толпившихся в ожидании у шатра стриптизерш. Они нервно поглядывали по сторонам, низко надвинув шляпы и засунув руки глубоко в карманы. Что ж, они не будут разочарованы: в шатре их ждет Барбара, готовая пустить в ход свои чары.

Прочие горожане – лохи, как называл их Дядюшка Эл, – уже побывали в зверинце и направились к шапито, где грохотала музыка. Музыканты, как обычно, гнали свой репертуар до того громко, что уши закладывало. Происходившее под куполом было знакомо мне до мелочей: как раз сейчас парад-алле подходит к завершению, и Лотти, воздушная гимнастка, возносится над манежем.

Я уставился на Грейди, пытаясь вникнуть, о чем он мне твердит. Он огляделся и наклонился ко мне поближе.

– А кроме того, – сказал он, встретившись со мной взглядом, – сдается мне, сейчас тебе как никогда есть что терять. – Он многозначительно поднял бровь. Сердце у меня замерло.

Купол взорвался громом аплодисментов, и музыканты плавно перешли к вальсу Гуно. Я инстинктивно взглянул на зверинец, поскольку это был сигнал к выходу слона. Марлена либо готовится взобраться к Розе на макушку, либо уже там.

– Мне надо идти, – сказал я.

– Сиди, – остановил меня Грейди. – Ешь. Если хочешь сделать ноги, неизвестно еще, когда тебе удастся поесть в следующий раз.

И вдруг музыка взвизгнула и оборвалась. Духовые и ударные слились в ледящем душу хоре: тромбоны и флейты-пикколо разразились полнейшей какофонией, труба будто бы пустила газы, а глухой лязг тарелок поплыл над куполом шапито, над нашими головами, и исчез в небытии.

Не донесся гамбургер до рта, Грейди замер, оттопырив мизинцы и широко разинув рот.

Я огляделся по сторонам. Немногие окружающие как будто застыли – все взоры были прикованы к шапито. Ветер лениво кружил по сухой земле несколько клоков соломы.

– Что это? Что стряслось? – спросил я.

– Ш-ш-ш, – зашипел Грейди.

Музыканты заиграли снова, на сей раз марш «Звезды и полосы навсегда».

– О господи. Вот черт. – Грейди швырнул гамбургер пря-

мо на стол и вскочил, опрокинув скамейку.

– Что там? Что случилось-то? – прокричал я, поскольку он уже несся прочь.

– Аварийный марш, – крикнул он на бегу.

Я судорожно обернулся к продавцу, который как раз срывал с себя передник.

– О чем это он, черт возьми?

– Аварийный марш, – ответил он, отчаянно стягивая передник через голову. – Значит, произошло что-то ужасное. Взаправду ужасное.

– Например?

– Да что угодно: пожар в шапито, паника, да мало ли что. Ох ты, боже мой. Бедняги лохи, должно быть, еще ничего не знают. – Он нырнул под навесную дверцу и убежал.

И воцарился хаос. Продавцы сладостей перепрыгивали через прилавки, монтажники выбирались из-под откидных пологов шатров, чернорабочие неслись сломя голову через ярмарочную площадь. Все и вся, что имело хоть какое-то отношение к «Самому великолепному на земле цирку братьев Бензини», устремилось к шапито.

Мимо меня галопом пронесся Алмазный Джо.

– Якоб, зверинец! – прокричал он. – Звери на воле! Скорее, скорее, скорее!

Мог бы и не повторять. Ведь там Марлена.

Приблизившись, я всем телом почувствовал гул. И чертовски испугался, поскольку он был тоном ниже, чем обыч-

ный шум. Земля задрожала.

Я ввалился внутрь и первым делом наткнулся на яка – его огромная кучерявая грудь была подобна стене, копыта разлетались в стороны, из красных ноздрей пыхал огонь, глаза вращались. Он проскакал до того близко, что я отпрянул и, встав на цыпочки, буквально вдавился в брезент, чтоб не попасть на его кривые рога. В его загрохот вцепилась отвратительная гиена.

Торговый ларек в центре шатра рухнул, и теперь на его месте был пестрый клубок лап, пяток, хвостов и когтей, и все это рычало, визжало, мычало и ржало. Над этой грудой возвышался белый медведь, слепо размахивая огромными лапами с острыми когтями. Он задел ламу и сразил ее наповал – БУМ! Лама рухнула на землю, шея и ноги распластались, словно лучи пятиконечной звезды. Сверху раздавались вопли и трескотня шимпанзе, которые раскачивались на веревках, держась подальше от кошачьих. Зебра с безумными глазами оказалась совсем рядом с припавшим к земле львом, и тот ударил ее лапой что было сил, промахнулся и вновь ринулся на нее, прижавшись животом к полу.

Я обшарил шатер глазами, надеясь отыскать Марлену. Но вместо нее увидел крупную кошку, скользнувшую к переходу, который вел к шапиту. Это была пантера. Когда ее гибкое черное тело исчезло в брезентовом туннеле, я замер в ожидании. Если лохи и не знали, то сейчас узнают. И правда, прошло лишь несколько секунд – и послышался пронзительный

крик, а за ним еще один, и еще, а потом все вокруг заполнили громыхающие звуки: это зрители пытались через головы друг друга выкарабкаться с трибун. Музыка вновь взвизгнула и оборвалась, но на сей раз больше не заиграла. Я закрыл глаза: «Господи, сделай так, чтоб они выбрались через задний вход. Прошу тебя, Господи, лишь бы они не пытались пробраться здесь».

Я вновь открыл глаза и оглядел зверинец, исступленно ища ее. Боже мой, кто бы знал, до чего порой трудно отыскать девушку и слона!

Заприметив наконец розовые блески, я чуть было не вскрикнул от облегчения. А может, и вскрикнул. Не помню.

Она стояла у стенки с противоположной стороны, тихая, словно ясный день. Блески сверкали подобно алмазам, и вся она была как мерцающий маячок среди множества пестрых шкур. Она тоже заметила меня и, встретившись со мной взглядом, задержала его будто бы на целую вечность. Держалась она хладнокровно и никуда не спешила. И даже улыбалась. Я начал было к ней пробираться, но что-то в ее взгляде заставило меня замереть на месте.

Этот краснорожий сукин сын стоял к ней спиной и изрыгал проклятия, размахивая руками и вращая тростью с серебряным набалдашником. Его шелковый цилиндр валялся рядом на соломе.

Она за чем-то потянулась. Между нами пронесся жираф, длинная шея которого грациозно покачивалась даже в этой

суматохе – и тут я увидел, что она схватила железный кол. Она держала его непринужденно, возя концом по сухой земле. Потом вновь мечтательно взглянула на меня. И наконец, взор ее скользнул в сторону маячащего перед ней затылка.

– О боже, – пробормотал я, вдруг сообразив, что к чему. И тут же рванулся к ней и закричал, хотя понятно было, что она меня не услышит: – Не смей! Не смей!

Она подняла кол над головой и опустила вниз, разбив его макушку, словно арбуз. Череп раскололся пополам, глаза широко раскрылись, рот застыл в виде буквы О. Он рухнул на колени и уткнулся лицом в солому.

Я был до того ошарашен, что не шевельнулся, даже когда вокруг моих ног сомкнул свои гибкие лапы молодой орангутан.

Как давно это было. Боже, как давно. Но до сих пор не могу выкинуть все это из головы.

Обычно я не распространяюсь о тех временах. Никогда не распространялся. Непонятно только почему: я работал в цирках около семи лет, и о чем же еще рассказывать, как не об этом?

На самом деле все мне понятно: я никогда себе не доверял. Боялся сорваться. Я знал, как важно сохранить ее тайну, и ведь хранил эту тайну на протяжении всей ее жизни, да и потом.

За семьдесят лет не рассказал ни одной живой душе.

Глава 1

Мне девяносто. Или девяносто три. Или так, или этак.

Когда вам пять, ваш возраст известен с точностью до месяца. Даже когда вам за двадцать, вы еще помните, сколько вам на самом деле лет. Вы говорите: мне двадцать три. Или, допустим, двадцать семь. А вот после тридцати начинаются всякие странности. Сперва – просто сбой, минутное колебание. Сколько вам лет? Ну как же, мне... – уверенно начинаете вы и вдруг останавливаетесь. Вы собирались ответить, что тридцать три, но ведь это неправда. Вам тридцать пять. И тут вас одолевает беспокойство, вам кажется, что это начало конца. Да так оно и есть, только пройдут десятилетия, прежде чем вы это признаете.

Вы начинаете забывать слова: вот же оно, вертится на кончике языка, но ни за что не сорвется. Вы идете за чем-то наверх, но, поднявшись по лестнице, уже не помните, за чем отправились. Прежде чем обратиться к сыну по имени, вы перебираете имена всех своих остальных детей и даже собаки. Порой вы забываете, какое нынче число. И наконец – какой нынче год.

На самом деле я не так уж и много забыл. Просто бросил следить за происходящим. Настало новое тысячелетие, тут уж я в курсе – столько возни и хлопот без всякого повода, вся эта молодежь, беспокойно кудахчущая и на всякий случай

закупающая консервы, а все потому, что кто-то поленился оставить место для четырех цифр вместо двух. Но кажется, это было месяц назад, а может, и три года. Какая, в конце концов, разница? Чем три недели отличаются от трех лет и даже трех десятилетий, если все они заполнены толченым горохом, кашей-размазней и подгузниками «Депенд»?

Мне девяносто. Или девяносто три. Или так, или этак.

Похоже, там не то авария, не то чинят дорогу, поскольку целая компания старушек прилипла к окну в конце вестибюля, словно малышня или арестанты. До чего они все тонкие и хрупкие, а волосы их подобны дымке. Большинство из них на добрую дюжину лет моложе меня, и это просто поразительно. Даже когда тело изменяет вам, разум отказывается это признать.

Мое кресло-каталка стоит в коридоре, а рядом ходунки. Слава богу, я здорово продвинулся с тех пор, как сломал бедро. Поначалу казалось, что я больше не буду ходить – вот почему меня вообще уговорили перебраться сюда, однако каждые пару часов я встаю и прохожу несколько шагов, и каждый день мне удается пройти все больше и больше, прежде чем я почувствую, что пора бы уже и вернуться. Ничего, мы еще повоюем.

Их там уже пять, этих седовласых кумушек, сбившихся в кучку и тычущих скрюченными пальцами в стекло. Я жду, не уйдут ли они. Но нет, не уходят.

Я смотрю вниз, убеждаюсь, что кресло стоит на тормозах, и осторожно поднимаюсь, опираясь на ручку кресла, – все-таки перебираться на ходунки небезопасно. Наконец я готов. Ухватившись за серые резиновые подлокотники, я толкаю ходунки вперед, распрямляя локти, – получается как раз шаг длиной с плитку, какими здесь выстелен пол. Волочу вперед левую ногу, проверяю, крепко ли она стоит, и подтаскиваю к ней правую. Толкаем, волочем, ждем, волочем. Толкаем, волочем, ждем, волочем.

Вестибюль длинный, а ноги уже не слушаются. Это, слава богу, не та хромота, что была у Верблюда, но все равно я стал передвигаться медленнее. Бедный старина Верблюд, я и думать-то о нем забыл. Ноги у него болтались так, что ему приходилось высоко поднимать колени и выбрасывать ступни вперед. А я волочу ноги, как будто они налиты свинцом, а поскольку спина у меня сгорбленная, приходится все время смотреть на собственные тапочки в обрамлении ходунков.

Не быстрое это дело – добраться до конца вестибюля, но в конце концов я справляюсь, и даже на своих двоих. Я доволен как последний дурак, но тут же вспоминаю, что мне еще придется возвращаться.

Завидев меня, старушки расступаются. Все они очень живенькие, из тех, что передвигаются сами или же просят подружку прокатить их по вестибюлю в кресле-каталке. Они, голубушки, пока еще в своем уме и очень ко мне добры. Таких, как я, тут немного – старик среди целого моря вдов, все

еще скорбящих по мужьям.

– Эй, – кудахчет Хейзл, – пропустите Якоба.

Она оттаскивает инвалидное кресло Долли на несколько футов назад и принимается суетиться вокруг меня, всплескивая руками. В ее белесых глазах мелькают искорки.

– Ах, как интересно! Все утро возятся.

Я приближаюсь к стеклу и поднимаю голову, щурясь от солнечного света. Солнце такое яркое, что поначалу я не могу ничего разглядеть. Но постепенно предметы начинают обретать очертания.

В парке в конце квартала появился огромный брезентовый шатер в пурпурно-белую полосу с остроконечной верхушкой – ошибиться невозможно...

Сердце сжимается так, что я хватаюсь за грудь.

– Якоб! Ой, Якоб! – кричит Хейзл. – Боже мой! Боже мой! – Она в замешательстве машет руками и поворачивается в сторону вестибюля. – Сиделка! Сиделка! Скорее же! Мистер Янковский!

– Все в порядке, – говорю я, откашливаясь и растирая грудь. Вот так всегда и бывает со старухами. Вечно бояться, что ты вот-вот скопытишься. – Послушайте, Хейзл, все в порядке.

Но слишком поздно. В вестибюле раздается скрип резиновых подметок, и вот уже вокруг меня толпятся сиделки. Судя по всему, в конечном счете мне не придется беспокоиться о том, как вернуться в свое кресло.

– И что у нас сегодня на ужин? – бормочу я, когда меня ввозят в столовую. – Овсянка? Толченый горох? Манная кашка? А ну-ка, дайте я угадаю... тапиока? Что, и в самом деле тапиока? А может, рисовый пудинг?

– Ох, мистер Янковский, ну вы и шутник, – спокойно произносит сиделка. Могла бы не отвечать, да она и сама прекрасно знает. Сегодня пятница, и нас ждет обычный питательный, но невкусный ужин из мясного хлеба, кукурузной каши, картофельного пюре и подливы, в которой, быть может, когда-то плавал кусочек мяса. И они еще спрашивают, почему я теряю вес.

Понятное дело, кое у кого здесь нет зубов, но у меня-то есть, и я хочу тушеной говядины. Такой, как делала моя жена, с лавровым листом. Хочу морковки. Картошки в мундире. А еще – запить все это густым душистым каберне. Но больше всего хочу початок кукурузы.

Порой я думаю, что, если бы мне предложили на выбор полакомиться кукурузным початком или заняться любовью с женщиной, я выбрал бы кукурузу. Я, конечно, не прочь побыть с женщиной – ведь я все еще мужчина, в моем случае годы бессильны. Но стоит вспомнить, как лопаются на зубах эти сладкие зернышки – и у меня просто слюнки текут. Понятное дело, все это мечты, и только. Ни то ни другое мне не светит. Мне просто нравится делать выбор, как если бы я стоял перед царем Соломоном: побыть напоследок с женщи-

ной – или съесть початок кукурузы. Порой вместо кукурузы я представляю себе яблоко.

За столом все только и говорят о цирке – ну, не все, а те, кто вообще может говорить. Наши молчуны, с застывшими лицами и парализованными руками и ногами, а заодно и те, кто не в силах удержать столовые приборы, поскольку очень уж у них трясутся руки и голова, – все они сидят по углам, а при них санитары, которые вкладывают им в рот кусочки пищи и уговаривают пожевать. Они похожи на птенцов, вот только едят без особого энтузиазма. Если не считать легкого подрагивания челюстей, лица их спокойны, а взгляд до ужаса бессмысленный. Именно до ужаса – ведь я понимаю, что в один прекрасный день со мной случится то же самое. Пока этот день не настал, но он не за горами. Я знаю только один способ избежать его прихода, но и он мне не очень-то симпатичен.

Сиделка подвозит меня к моей тарелке. Подливка на мясном хлебе уже застыла до корочки. Я ковыряюсь в тарелке вилкой. Подливка издевательски подрагивает. Я с отвращением поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с Джозефом Макгинти.

Он, новичок, незванный гость, сидит напротив меня. Бывший судебный адвокат с квадратной челюстью, бугристым носом и большими вислыми ушами. Глядя на его уши, я вспоминаю Розу, хотя во всем остальном он ничуть на нее не похож. Она была чудесная, а он – ну, он бывший адвокат.

Не понимаю, что общего сиделки нашли между адвокатом и ветеринаром, почему в первый вечер усадили его напротив меня, да так оно и повелось.

Он смотрит на меня в упор, двигая челюстями, словно ко-рова, жующая жвачку. Невероятно. Он и правда это ест.

Старушки в блаженном неведении болтают друг с другом.
– Они пробудут здесь до воскресенья, – говорит Дорис. – Билли у них спросил.

– Да, два представления в субботу и еще одно в воскресенье. Рэндалл с девочками обещали меня завтра туда свести, – подхватывает Норма и оборачивается ко мне. – Якоб, а вы пойдете?

Я открываю рот, чтобы ответить, но тут снова встречается Дорис:

– А вы видели лошадок? Ей-богу, просто чудные. Когда я была маленькая, у нас тоже были лошади. Ах, как я любила на них кататься!

Она смотрит вдаль, и я ментально понимаю, что в молодости она была красавица.

– А помните передвижные цирки? – спрашивает Хейзл. – За несколько дней до их прибытия появлялись афиши – ими умудрялись обклеить весь город! Ни одной стены не пропустили!

– Помню, ей-же-ей! Как не помнить? – отвечает Норма. – Как-то раз афишу наклеили прямо на наш сарай. Сказали отцу, что у них такой специальный клей, который сам рас-

творится через два дня после представления, но, черт возьми, еще два месяца спустя афиша красовалась на том же месте! – Она хихикает и трясет головой. – Отец был вне себя от ярости!

– А через день-другой появлялись циркачи. Всегда ни свет ни заря.

– Отец обычно водил нас посмотреть, как разбивают шатры. Боже, вот это было зрелище! А потом – гулянья! И запах жареного арахиса...

– А воздушная кукуруза!

– А сахарные яблоки, а мороженое, а лимонад!

– А опилки! Как они забивались в нос!

– А я носил воду для слонов, – вставляет Макгинти.

Я роняю вилку и поднимаю взгляд от тарелки. Он вот-вот лопнет от самодовольства – так и ждет, что девочки начнут перед ним лебезить.

– Не носили, – говорю я.

Молчание.

– Что, простите, вы сказали? – спрашивает он.

– Вы не носили воду для слонов.

– Еще как носил.

– Нет, не носили.

– Вы хотите сказать, что я лжец? – медленно произносит он.

– Если вы утверждаете, что носили воду для слонов, то ровно это я и хочу сказать.

Девочки смотрят на меня с открытыми ртами. Сердце колотится. Я понимаю, что не следовало так себя вести, но ничего не могу с собой поделать.

– Да как вы смеете! – Макгинти хватается узловатыми пальцами за край стола. На руках проступают жилы.

– Послушайте, дружище, – говорю я. – Годами я слышу, как старые болваны вроде вас болтают, будто носили воду для слонов. Но повторяю, это неправда.

– Старые болваны? Старые болваны?! – Макгинти вскакивает, а его инвалидное кресло откатывается назад. Он тычет в меня скрюченным пальцем, а потом вдруг падает, словно подкошенный. Так, с расширенными глазами и разинутым ртом, он исчезает под столом.

– Сиделка! Эй, сиделка! – кричат старушки.

Знакомый скрип резиновых подметок – и вот уже две сиделки подхватывают Макгинти под локти. Он ворчит и делает слабые попытки вырваться.

Третья сиделка, бойкая негротяночка в нежно-розовом костюме, стоит в конце стола, уперев руки в боки.

– Что тут, в конце концов, происходит? – спрашивает она.

– Этот старый козел назвал меня лжецом, вот что! – отвечает Макгинти, благополучно водруженный обратно в кресло. Он одергивает рубашку, поднимает заросший седой щетиной подбородок и скрещивает руки на груди. – И старым болваном.

– О, я уверена, что мистер Янковский вовсе не хотел... –

начинает девушка в розовом.

– Еще как хотел, – отвечаю я. – Но он тоже хорош. Пфффф! Носил воду для слонов, как же. Да вы вообще хоть представляете, сколько пьют слоны?

– Понятия не имею, – говорит Норма, поджав губы и тряся головой. – Но я одного в толк не возьму: что это на вас нашло, мистер Янковский?

Да-да. Вот так оно всегда и бывает.

– Это возмутительно! – восклицает Макгинти, чуть склонившись к Норме. Заметил, стало быть, что глас народа на его стороне. – Я не понимаю, почему обязан терпеть, когда меня обзывают лжецом.

– И старым болваном, – напоминаю я.

– Мистер Янковский! – обращается ко мне негрятночка, повышая голос. Она подходит ко мне и снимает кресло с тормоза. – Думаю, вам лучше побыть у себя. Пока не успокойтесь.

– Постойте! – кричу я, но она уже откатывает меня от стола и везет к двери. – С чего это я должен успокаиваться? И вообще, я еще не поел!

– Ужин я вам принесу, – доносится у меня из-за спины.

– Но я не хочу ужинать у себя! Верните меня обратно! Вы не имеете права!

Оказывается, очень даже имеет. Она провозит меня по вестибюлю со скоростью молнии и резко сворачивает в мою комнату. Там она с такой силой жмет на тормоза, что кресло

аж подпрыгивает.

– Я еду обратно, – говорю я, замечая, что она поднимает подставку для ног.

– Ни за что, – отвечает она, ставя мои ноги на пол.

– Но так нечестно! – чуть ли не взвизгиваю я. – Ведь я всегда там сидел. А он только две недели. Почему все встали на его сторону?

– Никто не встал ни на чью сторону. – Она наклоняется ко мне и подхватывает меня под руки. Когда она меня поднимает, ее лицо оказывается вровень с моим. Ее волосы, явно распрямленные в парикмахерской, пахнут цветами. Она усаживает меня на край кровати, и я утыкаюсь глазами в ее грудь, обтянутую розовым. И в табличку с именем.

– Розмари, – окликаю ее я.

– Да, мистер Янковский?

– Но ведь он и правда соврал.

– Я не в курсе. И вы не в курсе.

– Я в курсе. Я сам из цирковых.

Она сердито моргает.

– Что, простите?

Меня одолевают сомнения, и я решаю не вдаваться в подробности.

– Не важно.

– Вы работали в цирке?

– Я же сказал, не важно.

Повисает неловкая пауза.

– Вы наверняка здорово обидели мистера Макгинти, – говорит она, занимаясь моими ногами. Она действует быстро и ловко, а если и останавливается, то ненадолго.

– Едва ли. Адвокаты умеют держать удар.

Она смотрит на меня долгим взглядом, как будто хочет увидеть во мне не пациента, а личность. На миг у меня перехватывает дыхание. Но она вновь принимается за работу.

– Скажите, родные поведут вас в выходные в цирк?

– О да, – отвечаю я не без гордости. – Каждое воскресенье кто-нибудь да заходит. У них все четко, как в аптеке.

Она встряхивает одеяло и укрывает мне ноги.

– Ну что, принести ужин?

– Нет, – отвечаю я.

И вновь неловкая пауза. Мне приходит в голову, что следовало бы добавить «спасибо», но уже поздно.

– Ладно, – говорит она, – я еще загляну посмотреть, не нужно ли вам чего.

Как же, заглянет она. Все они так говорят.

Но, будь я проклят, вот и она.

– Только никому не говорите, – просит она, спешно водружая мне на колени переносной столик и застилая его бумажной салфеткой, а потом кладет туда пластиковую вилку и ставит блюдце с фруктами. Клубника, дыня, яблоко... До чего же аппетитно они выглядят! – Это мой завтрак. Я на диете. Вы любите фрукты, мистер Янковский?

Я и хотел бы ответить, но вместо этого зажимаю рот дрожащей рукой. Боже мой, яблоко...

Погладив меня по другой руке, она уходит, деликатно не замечая моих слез.

Я кладу в рот кусочек яблока и смакую. Флуоресцентная лампа, жужжащая у меня над головой, льет резкий свет на мои скрюченные пальцы, тянущиеся за кусочками фруктов. До чего же они чужие. Нет, не может быть, чтобы это были мои пальцы.

Возраст – безжалостный вор. Когда дни твои подходят к концу, он лишает тебя ног и сгибает спину. Боль и помутившийся рассудок – вот его приметы. Это он тихой сапой насылает на твою жену рак.

Метастазы, сказал врач. Протянет от нескольких недель до нескольких месяцев. Но моя любимая была хрупкая, как птичка. Она протянула всего девять дней. Мы прожили вместе шестьдесят один год – и вот она сжала мою руку и в одночасье угасла.

Порой я готов отдать что угодно, лишь бы она вернулась, но на самом деле даже рад, что она ушла первой. Когда ее не стало, что-то во мне надломилось. Казалось, жизнь закончилась – и я не хотел бы, чтобы эта участь досталась ей. Остаться в живых куда как более гадко.

Раньше мне думалось, что лучше дожить до глубоких седин, чем наоборот, но теперь я засомневался. Все эти игры в лото и спевки, ветхие старички и старушки в инвалидных

креслах, расставленных по всему вестибюлю, – да тут любой возжелает смерти. Особенно если вспомнить, что я и сам – один из этих ветхих старичков, отправленных в утиль.

Но тут ничего не поделаешь. Все, что мне остается, – ждать неизбежного, наблюдая, как тени прошлого врываются в мое праздное настоящее. Они громыхают и рокочут, и вообще чувствуют себя как дома, ведь моя жизнь больше ничем не заполнена. Бороться с ними я уже бросил.

Вот и сейчас они громыхают и рокочут вокруг меня.

Чувствуйте себя как дома, друзья мои. Побудьте еще немного. Ах да, вы и так уже неплохо устроились.

Чертовы тени.

Глава 2

Мне двадцать три, и я сижу рядом с Кэтрин Хейл. Вернее, это она сидит рядом со мной, ведь она вошла в аудиторию позже и небрежно скользнула на скамью, коснувшись меня бедром, а потом, покраснев, отпрянула, как будто у нее это вышло случайно.

Кэтрин – одна из четырех девушек в наборе 1931 года, и нет пределов ее жестокости. Я уже сбился со счета, сколько раз мне доводилось думать: «Боже мой, боже мой, неужели она наконец мне даст? – И всякий раз меня как огорошивало: – О господи, она что, хочет, чтобы я остановился?! СЕЙ-ЧАС?!»

Насколько мне известно, я старейший девственник на земле. Конечно, в моем возрасте добровольно ни в чем подобном не признаются. Даже мой сосед по комнате Эдвард утверждает, что преуспел в покорении женских сердец, хотя я склонен полагать, что если он и видел голую женщину, то разве что в эротическом комиксе. Не так давно мои товарищи по футбольной команде заплатили одной бабе по четвертаку с носа и по очереди отымали ее в коровнике. Но я, хоть и надеялся навсегда распрощаться с девственностью в Корнелле, заставить себя присоединиться к ним не смог. Просто не смог.

Шесть долгих лет я препарировал, кастрировал, прини-

мал роды у кобыл, ковырялся рукой в стольких коровьих за-
дах, что ни в сказке сказать, ни пером описать, и вот наконец
через десять дней мы с моей неразлучной тенью по имени
Девственность покинем эту Итаку и отправимся в Норидж,
где отец ждет не дождется, чтобы я разделил с ним ветери-
нарную практику.

– Перед вами пример утолщения дистального отдела тон-
кого кишечника, – бесстрастно произносит профессор Уил-
лард Макгаверн, вяло тыча указкой в скрученные кишки
мертвой пестрой козы. – Это утолщение, наряду с увеличе-
нием брыжеечных лимфатических узлов, однозначно указы-
вает на...

Дверь со скрипом открывается, и профессор Макгаверн
поворачивается, не вынимая указки из козьих внутренно-
стей. В аудиторию стремительно врывается декан Уилкинс.
Взбежав к кафедре, он принимается совещаться с профессо-
ром, он приблизился к нему настолько, что они чуть ли не
упираются друг в друга лбами. Уилкинс торопливо шепчет, а
Макгаверн тем временем обводит обеспокоенным взглядом
ряды слушателей.

Студенты вокруг меня начинают нетерпеливо ерзать.
Кэтрин замечает, что я смотрю на нее, и закидывает ногу на
ногу, томно одергивая пальчиками юбку. Я сглатываю и от-
ворачиваюсь.

– Якоб Янковский!

Я испуганно роняю карандаш. Он укатывается под ноги

Кэтрин. Я прокашливаюсь и вскакиваю, ловя на себе взгляды пятидесяти пар глаз.

– Да, сэр?

– Мы можем переговорить?

Я закрываю тетрадь и кладу ее на скамью. Кэтрин достает укатившийся карандаш и, возвращая его мне, не сразу отнимает руку. Я прохожу между рядами, постоянно ударяясь о кого-нибудь коленями и поднимаясь на цыпочки. Пока я иду к двери, за моей спиной нарастает шепот.

Декан Уилкинс пристально смотрит на меня.

– Пойдемте с нами, – говорит он.

Судя по всему, я сделал что-то не то.

Мы выходим в коридор. Макгаверн покидает аудиторию последним и закрывает за собой дверь. И вот оба стоят передо мной со строгими лицами, скрестив руки на груди.

Мысли в голове несутся вскачь, я принимаюсь перебирать каждый свой шаг. А что, если в общежитии был обыск? А вдруг они нашли ликер Эдварда? Или, хуже того, его эротические комиксы? Господи, да отец убьет меня, если я сейчас вылеку. Тут уж никаких сомнений. Не говоря уже о матери – она этого просто не переживет. Может, я и выпил немного виски, но, во всяком случае, не имею никакого отношения к тому, что происходило в коровнике...

Декан Уилкинс, глубоко вдохнув, смотрит прямо на меня и кладет руку мне на плечо.

– Сынок, произошла авария. – Он ненадолго умолкает. –

Автомобильная авария. – На этот раз он молчит дольше. – Там были твои родители.

Я смотрю на него в упор: что-то он скажет дальше?

– Но они... Ведь они?..

– Увы, сынок. Все произошло мгновенно. Ничего нельзя было сделать.

Я смотрю на него, пытаюсь не отводить взгляда, но у меня не получается, его лицо уменьшается и исчезает в конце длинного черного туннеля. Перед глазами мелькают звездочки.

– С тобой все в порядке, сынок?

– Что?

– Все в порядке?

И вот он вновь передо мной. Я моргаю, не понимая, о чем это он. Ну что может быть в порядке, к чертям собачьим? Потом до меня доходит: ему непонятно, почему я не плачу.

Прочистив горло, декан продолжает:

– Тебе придется поехать домой. На опознание. Я отвезу тебя на вокзал.

Полицейский инспектор, член нашей общины, ждет меня на платформе в штатском. Он неловко кивает и напряженно пожимает мне руку. И, будто бы одумавшись, стремительно заключает в объятия. А потом громко хлопает по спине и обрушивает на меня целый град тычков и всхлипов. И везет в больницу на собственной машине, двухлетнем фэртоне, ко-

торый, должно быть, стоит бешеных денег. Поистине, многие вели бы себя иначе, если бы знали, что случится в том памятном октябре.

Коронер ведет нас в подвал и проскальзывает за дверь, оставив нас ждать в вестибюле. Несколько минут спустя появляется медсестра и, распахнув дверь, без лишних слов приглашает нас войти.

Окон в комнате, куда мы попадаем, нет. Стены голые, если не считать часов. Пол выстлан оливково-белым линолеумом, а посередине комнаты – две каталки. На каждой – тело под простыней. Уму непостижимо. Я не понимаю даже, где голова, а где ноги.

– Готовы? – спрашивает коронер, проходя между ними.

Я сглатываю и киваю. Кто-то кладет мне руку на плечо. Инспектор.

Сначала коронер открывает тело отца, потом – тело матери.

Мои родители выглядели совсем не так, но кто же это, если не они?

Теперь они в плену у смерти, смерть – везде: в царапинах на их истерзанных телах, в темно-фиолетовых пятнах на бескровно-белой коже, в проваленных глазницах. Лицо матери – при жизни столь миловидной и щепетильной – застыло в жесткой гримасе. Спутанные окровавленные волосы вдавлены в раздробленный череп. Рот открыт, а подбородок опущен, как если бы она храпела.

Я отворачиваюсь. Меня начинает рвать. Сразу подскакивает кто-то с лотком наготове, но я промахиваюсь и слышу, как содержимое моего желудка хлещет на пол и разбрызгивается по стене. Слышу, потому что крепко зажмурил глаза. Меня все рвет и рвет. Вот уже, кажется, больше нечем, но меня продолжает выворачивать – и, согнувшись пополам, я размышляю, может ли человек вывернуться наизнанку.

Меня уводят и усаживают в кресло. Любезная медсестра в накрахмаленном белом костюме приносит кофе, но я к нему не прикасаюсь, и он стынет на столике. Через некоторое время появляется священник. Он садится рядом со мной и спрашивает, кому еще следовало бы позвонить. Я бормочу в ответ, что все наши родственники в Польше. Он расспрашивает о соседях и членах общины, но я не могу назвать ни единого имени. Вообще. Не уверен, что ответил бы, как зовут меня самого, спроси он об этом сейчас.

Он уходит, и я потихоньку ухожу вслед за ним. До нашего дома чуть больше двух миль, и, когда я добираюсь до места, над горизонтом виден только самый краешек солнца.

На подъездной дорожке пусто. Ну конечно.

Я стою во дворе с чемоданом в руках и смотрю на длинное плоское здание за домом. Над входом новая табличка, а на ней блестящими черными буквами выбито:

Э. ЯНКОВСКИЙ и сын

Дипломированные ветеринары

Постояв, я поворачиваюсь к дому, взбираюсь на крыльцо и распахиваю дверь.

На кухонном столе – любимая игрушка отца, радиоприемник «Филко». На спинке стула – синий мамин свитер. На обеденном столе – выглаженные салфетки и вазочка с поникшими фиалками. Рядом с раковиной расстелено клетчатое кухонное полотенце, а на нем сохнут перевернутая миска от миксера, две тарелки и россыпь столовых приборов.

Еще утром у меня были родители. Еще утром они завтракали.

Я падаю на колени прямо на заднем крыльце и рыдаю, спрятав лицо в ладони.

Через час меня берут в оборот женщины, отряженные церковной общиной, – их известила о моем приезде жена инспектора.

Я все еще сижу на крыльце, уткнувшись лицом в колени. Слышу, как хрустит под колесами гравий, как хлопают дверцы машин, и вот уже я окружен рыхлой плотью, ситцем в цветочек и руками в перчатках. Меня прижимают к мягким бюстам, тычутся шляпками с вуалями и обдают ароматами лавандовой, жасминовой и розовой воды. Смерть для них – только повод надеть лучшие воскресные наряды. Они гладят меня по голове, суетятся – и, хуже того, кудахчут.

Какой кошмар, какой кошмар. А какие чудесные люди.

Трудно поверить. Поистине трудно. Но пути Господни неисповедимы. Они обо всем позаботятся. Для меня уже готова гостевая комната в доме Джима и Мэйбл Ньюрейтер. Я не должен ни о чем беспокоиться.

Они берут мой чемодан и подталкивают к машине. Джим Ньюрейтер мрачно сидит за рулем, вцепившись в него обеими руками.

Через два дня после похорон меня вызывают в контору Эдмунда Хайда, эсквайра, чтобы решить вопрос с родительским имуществом. Я сижу в жестком кожаном кресле напротив самого мистера Хайда, а он клонит к тому, что обсуждать нам особо нечего. Поначалу мне кажется, что он издевается. В течение последних двух лет с моим отцом якобы расплачивались фасолью и яйцами.

– Фасолью и яйцами? – Мне настолько не верится, что даже перехватывает горло. – Фасолью и яйцами?!

– И курами. И другими продуктами.

– Не понимаю.

– Сынок, у людей больше ничего нет. Община переживает не лучшие времена, и твой отец помогал по мере сил. Не мог остаться в стороне и смотреть, как животные мучаются.

– Но... нет, не понимаю. Даже если с ним рассчитывались... ну чем угодно... почему тогда все имущество родителей принадлежит банку?

– Они не выплатили вовремя по закладной.

– Мои родители ничего не закладывали.

Он смущен. Соединил кончики пальцев и держит перед собой.

– Ну... видишь ли... на самом деле закладывали.

– Да нет же, – пытаюсь спорить я. – Они живут здесь уже почти тридцать лет. Отец откладывал каждый заработанный цент.

– Банк прогорел.

Я прищуриваюсь:

– А вы же только что сказали, что все имущество отходит банку?

Он глубоко вздыхает.

– Это другой банк. Тот, который дал им денег под залог, когда первый закрылся, – отвечает он.

Не пойму: то ли он пытается изобразить из себя верх терпимости, но у него никак не получается, то ли неприкрыто хочет, чтобы я поскорее ушел.

Я медлю. Интересно, можно ли хоть что-то сделать?

– А оставшиеся в доме вещи? А ветеринарная практика и оснащение? – наконец спрашиваю я.

– Все отходит банку.

– Могу ли я это оспорить?

– Каким образом, сынок?

– А что, если я вернусь, вступлю во владение отцовской практикой и постараюсь выплатить по закладной?

– Не получится. Как можно вступить во владение тем, что тебе больше не принадлежит?

Я гляжу в упор на Эдмунда Хайда, на его дорогой костюм и не менее дорогой стол, на ряды книг в кожаных переплетах. Сквозь витражи за его спиной пробивается солнце. Я неожиданно исполняюсь омерзением: готов поклясться, уж он-то в жизни не согласился бы, чтобы за его услуги заплатили фасолью и яйцами.

Я подаюсь вперед и встречаюсь с ним взглядом. Пусть это будет не только моя, но и его проблема.

– Ну и что мне теперь делать? – медленно спрашиваю я.

– Не знаю, сынок. Хотел бы знать, да не знаю. В стране наступают нелегкие времена, вот дело-то в чем... – Он откидывается в кресле, не разнимая кончиков пальцев. И вдруг кивает головой, как будто что-то придумал. – А что, если тебе уехать на Дикий Запад?

Я понимаю, что если сейчас же не уйду из его конторы, то поколочу его. Так что я встаю, надеваю шляпу и откланиваюсь.

Выйдя на улицу, я понимаю еще кое-что. А ведь закладная родителям могла понадобиться лишь для того, чтобы заплатить за мое обучение в университете.

Вот те на! Внезапно меня пронзает боль, и я снова сгибаюсь пополам, схватившись за живот.

Поскольку выбора у меня нет, я возвращаюсь в университет – все равно ничего лучшего мне сейчас не придумать. Общежитие и питание оплачены до конца года, пусть до него и осталось только шесть дней.

Я пропустил целую неделю обзорных лекций. Все предлагают помощь. Кэтрин приносит свои конспекты и обнимает меня так, что если бы я возобновил свои притязания, то определенно мог бы рассчитывать на более благоприятный исход. Но я уклоняюсь. Впервые на моей памяти и думать не могу о сексе.

Не могу есть. Не могу спать. И, понятное дело, не могу учиться. В течение четверти часа пялюсь на один и тот же абзац – и ничего не понимаю. Да и что я могу понять, если за этими словами и за белой бумагой вновь и вновь вижу, как погибли мои родители? Вижу, как их кремовый «бьюик» перелетает через перила и падает с моста, лишь бы не врезаться в красный грузовик старого мистера Макферсона? Старого мистера Макферсона, который признался, когда его уводили с места происшествия, что не был уверен, по своей ли полосе ехал, и предположил, что мог нажать на газ вместо тормоза. Старого мистера Макферсона, о котором ходила легенда, что как-то раз на Пасху он явился в церковь без штанов.

Инспектор курса закрывает дверь и садится на место. Смотрит на часы, дожидаясь, чтобы минутная стрелка сдвинулась на одно деление.

– Можете начинать.

Открываются сорок две экзаменационные тетради. Кто-то просматривает вопросы от начала до конца. А кто-то сразу начинает писать. И лишь я не делаю ни того ни другого.

Проходит сорок минут, а я еще не притронулся к карандашу. Я с тоской смотрю на тетрадь. Передо мной – графики, числа, линии, диаграммы, слова, целые строки слов со знаками препинания в конце – где-то точка, где-то вопросительный знак, но ни одной из этих строк я не понимаю. Интересно, это вообще по-английски? Пытаюсь прочесть их польски, но тоже не выходит. А может, это китайские иероглифы?

Кто-то из девушек кашляет, и я подскакиваю. Со лба в тетрадь скатывается капля пота. Вытерев ее рукавом, я беру тетрадь в руки.

Может, поднести ее поближе к глазам? Или, напротив, отодвинуть подальше? Ага, так я хотя бы вижу, что это по-английски. Точнее, что отдельные слова написаны по-английски, но связать их друг с другом у меня никак не получается.

Еще капля пота.

Я осматриваю аудиторию. Кэтрин что-то быстро пишет, каштановые волосы падают на лицо. Она левша, а поскольку писать приходится карандашом, левая рука у нее испачкана в графите от запястья до локтя. Рядом с ней Эдвард. Вот он резко выпрямляется, в ужасе смотрит на часы и вновь склоняется над тетрадью. Я отворачиваюсь к окну.

Среди листвы проглядывают полосы голубого неба, ветер мягко шевелит эту сине-зеленую мозаику. Я вглядываюсь в нее – и дальше, за листья и ветви; мой взор расфокусирует-

ся. Прямо перед глазами появляется белка с распушенным хвостом.

Я с яростным скрежетом отодвигаю стул и встаю. Брови все в капельках пота, руки трясутся. В мою сторону поворачиваются сорок два лица.

Должно быть, эти люди мне знакомы – неделю назад я их точно знал. Знал, откуда они родом. Чем занимаются их родители. Есть ли у них братья и сестры, любят ли они их. Черт возьми, а ведь я прекрасно помню тех, кто вынужден был бросить учебу после биржевого краха. Генри Винчестера, чей отец выбросился из окна чикагской Торговой палаты. Алистера Барнса – его отец покончил с собой выстрелом в голову. Реджинальда Монти – он безуспешно пытался жить в машине, когда родители больше не могли платить за общежитие. Бакки Хейса, чей отец, став безработным, попросту ушел из дома. А как же они – те, кто сейчас сдает экзамен? Забыл напрочь.

Я смотрю на их лица, лишенные черт, – обрамленные волосами бледные овалы, перевожу взгляд с одного лица на другое и впадаю в отчаяние. Слышу тяжелый, влажный всхлип – и понимаю, что издал его я. Мне не хватает воздуха.

– Якоб!

У ближайшего ко мне лица есть рот, и он шевелится. Голос звучит робко и неуверенно.

– Все в порядке?

Я мигаю, но никак не могу сфокусировать взор. Минуту

спустя я прохожу через аудиторию и кладу экзаменационную тетрадь инспектору на стол.

– Уже закончили? – спрашивает инспектор, беря ее в руки. По дороге к двери я слышу шелест страниц. – Постойте! Вы ведь даже не начинали! Вы не имеете права выходить. Если вы выйдете, я больше не смогу...

Но я уже захлопываю за собой дверь. Пересекая двор, я оглядываюсь на кабинет декана Уилкинса. Он стоит у окна и смотрит прямо на меня.

Дойдя до окраины города, я сворачиваю и иду вдоль железной дороги. Иду, пока темнеет, пока над городом встает луна, иду еще несколько часов. Не перестаю идти, пока ноги не начинают болеть, а на ступнях не появляются мозоли. И лишь тогда, всерьез проголодавшись, останавливаюсь. Я понятия не имею, куда забрел. Чувствую себя лунатиком, который шел-шел – и вдруг, проснувшись, оказался неизвестно где.

Единственный признак цивилизации – железнодорожные рельсы на гравийной насыпи. С одной стороны от железной дороги – лес, с другой – полянка. Где-то журчит вода, и я, ведомый луной, иду на звук.

Вот и ручей, от силы несколько футов в ширину. Он бежит мимо деревьев, выстроившихся вдоль дальнего края полянки, и сворачивает в лес. Я стягиваю туфли и носки и усаживаюсь на берегу.

Стоит мне опустить ноги в ледяную воду, как они начинают нестерпимо ныть, и я тут же их вытаскиваю. Но снова и снова опускаю ступни в воду и каждый раз держу все дольше, пока не перестаю чувствовать на онемевших от холода ногах мозоли. Я касаюсь ступнями каменистого дна, и вода струится сквозь пальцы. Наконец ноги начинают болеть уже не от ходьбы, а от холода – и тогда я вытягиваюсь на берегу, положив голову на плоский камень, и сушу пятки.

Вдали слышится вой койота, такой одинокий и такой знакомый. Я вздыхаю и закрываю глаза. В ответ на вой всего в паре дюжин ярдов от меня раздается повизгивание, и я тут же сажусь.

Далекий койот снова принимается выть, и на этот раз ему отвечает паровозный гудок. Я вновь натягиваю носки и туфли и поднимаюсь, вглядываясь за край полянки.

Поезд все ближе, он гремит и стучит мне навстречу: ЧУХ-чух-чух-чух, ЧУХ-чух-чух-чух, ЧУХ-чух-чух-чух...

Вытерев руки об одежду, я шагаю к железной дороге и останавливаюсь, не дойдя нескольких ярдов. И вновь паровозный гудок:

ТУ-ТУ-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У...

Из-за поворота вырывается огромный паровоз и проносится мимо меня. Его громада настолько близко, что меня буквально сбивает с ног воздушной волной. За ним несутся клубы дыма, повисая над вагонами толстым черным шлейфом. Его образ, звук, запах – все меня ошеломляет. Застыв,

я смотрю, как мимо просвистывает с полдюжины платформ, вроде бы на них высятся фургоны, хотя толком не разберешь – луна как раз зашла за тучу.

Я выхожу из оцепенения. В поезде люди. Какая разница, куда он идет: в любом случае прочь от койотов – и в сторону жилья, еды, а то и работы. А вдруг это мой обратный билет до Итаки? У меня, конечно, ни гроша за душой, и едва ли мне будут рады. А даже если и будут, у меня теперь ни дома, ни практики...

Мимо проносятся платформы, груженные чем-то вроде телефонных столбов. Я пытаюсь разглядеть, что последует за ними. На миг появляется луна и освещает голубоватым светом очередные грузовые вагоны.

Я припускаю что есть сил в том же направлении, что и поезд. Ноги скользят по гравию – бежать по нему трудно, как по песку, и мне приходится наклоняться вперед. Я спотыкаюсь, падаю и пытаюсь восстановить равновесие, чтобы не попасть рукой или ногой под колеса.

Поднявшись, ускоряю бег и оглядываю вагоны: за что бы ухватиться? Первые же три вагона глухо заперты на замок. За ними – вагоны для перевозки скота. Двери в них открыты, но оттуда торчат лошадиные хвосты. Картинка настолько странная, что я обращаю на нее внимание, даже мчась сломя голову неведомо где, вдоль движущегося поезда.

Я замедляю бег до трусцы и наконец останавливаюсь. Запыхавшись и почти потеряв надежду, оборачиваюсь. И вдруг

вижу через три вагона открытую дверь.

И вновь бросаюсь вперед, считая проносящиеся мимо вагоны.

Один, два, три...

Я хватаюсь за железный поручень и делаю рывок вверх. Удастся зацепиться левой ногой, локтем и подбородком – им я врезаюсь прямо в железную обшивку. Крепко держусь всеми тремя. Шум меня оглушает, нижняя челюсть ритмично бьется о железо. В ноздри ударяет запах то ли крови, то ли ржавчины: вот те на, может, я выбил зубы? Но тут до меня доходит, что это сущие пустяки – на самом деле вся жизнь моя висит на волоске: я вот-вот выпаду из дверного проема, а правая нога метит под днище вагона. Уцепляюсь правой рукой за поручень, а левой – за дощатый пол вагона, да так, что обдираю ногтями дерево. Удержаться становится все сложнее: подошвы у меня совсем не рифленые, и левая нога урывками скользит к двери. Правая же болтается уже совсем под поездом – судя по всему, мне светит остаться без ноги. Я мысленно с ней прощаюсь, зажмуриваю глаза и стискиваю зубы.

Проходит несколько мгновений – и я понимаю, что все еще цел. Открываю глаза и прикидываю, что бы еще сделать. Выбор небогат, а поскольку, спрыгнув с поезда, я непременно попаду под него, я считаю до трех и из последних сил делаю рывок вверх. О чудо – мне удастся перебросить левое колено через край. И вот, орудия ступней, коленом, подбо-

родком, локтем и ногтями, я забираюсь наконец внутрь вагона и падаю на пол. Падаю, тяжело пыхтя и совершенно выбившись из сил.

Но тут же, заметив тусклый огонек, приподнимаюсь на локте.

На мешках из грубой рогожи сидят четверо и играют в карты при свете керосиновой лампы. Один из них, морщинистый старик с ввалившимися, заросшими щетиной щеками, припал губами к глиняному кувшину – и от удивления, похоже, забыл его опустить. Наконец, отняв кувшин от губ, он вытирает их рукавом.

– Ну-ка, ну-ка, – медленно произносит он. – Что это у нас там?

Двое его спутников сидят не шелохнувшись и глядят на меня, не выпуская карт из рук. Четвертый встает и направляется прямо ко мне.

Это здоровенный детина с густой черной бородой. Одет он в какую-то несусветную рванину, а из полей его шляпы кто-то явно выкусил изрядный кусок. Я с трудом поднимаюсь на ноги и отступаю, но тут же понимаю, что дальше идти некуда. Оглянувшись, обнаруживаю, что за мной – один из многочисленных рулонов брезента.

Когда я поворачиваюсь обратно, он уже дышит мне прямо в лицо алкоголем.

– У нас в поезде нет места для бродяг, братишка. Так что убирайся-ка откуда пришел.

– Эй, постой, Черныш, – говорит старик с кувшином. – А то сейчас натворишь тут делов.

– Ничего не натворю, – отвечает Черныш, хватая меня за воротник. Я бью его по руке. Он тянется ко мне другой, и я замахваюсь, чтобы ему помешать. Когда наши руки сталкиваются в воздухе, слышится хруст костей.

– О-хо-хо, – кудахчет старик. – Ты бы полегче, парнишка. Не лез бы ты к Чернышу.

– А по-моему, это Черныш ко мне лезет, – кричу я, блокируя очередной удар.

Черныш делает выпад. Я валюсь на брезент, но не успеваю удариться головой, как он уже тянет меня обратно. Миг спустя моя правая рука заломлена за спину, ноги свисают из открытой двери вагона, а перед глазами мелькают стволы деревьев.

– Черныш, – сердится старик, – Черныш, оставь его в покое! Оставь в покое, кому говорю! И втяни обратно в вагон.

Теперь Черныш заламывает мне руку уже за загривок и как следует встряхивает.

– Черныш, кому я сказал! – кричит старик. – Зачем нам неприятности? Оставь его в покое.

Черныш свешивает меня из вагона еще чуть пониже, потом разворачивает и швыряет на брезент. Вернувшись к своим товарищам, он хватает глиняный кувшин, перелезает, минуя меня, через брезентовый рулон и забирается в дальний угол вагона. Не отводя от него глаз, я потираю выверну-

тую руку.

– Не огорчайся, малыш! – обращается ко мне старик. – Такая уж у Черныша работа – выбрасывать людей из поезда, и он давненько этим не занимался. Иди сюда, – добавляет он, похлопывая по полу ладонью. – Вот сюда.

Я снова кошусь на Черныша.

– Иди-иди, – повторяет старик. – Не бойся. Черныш тебя больше не тронет. Правда, Черныш?

Черныш что-то мычит и отхлебывает из кувшина.

Я поднимаюсь и осторожно направляюсь к остальным.

Старик протягивает мне правую руку. Поколебавшись, я еежимаю.

– Я Верблюд, – представляется он. – Это Грейди. Это Билл. А с Чернышом вы уже знакомы. – Он улыбается беззубым ртом.

– Здравствуйте, – говорю я.

– Грейди, принеси-ка нам обратно кувшин.

Грейди смотрит на меня в упор, но я выдерживаю его взгляд. Тогда он встает и молча направляется к Чернышу.

Верблюд с трудом поднимается на ноги, до того непослушные, что мне даже приходится подставить ему локоть. Поднявшись, он светит мне в лицо керосиновой лампой, разглядывает одежду – словом, изучает от макушки до пят.

– Вот, Черныш, говорил же я? – сварливо кричит он. – Это тебе не бродяга. Поди-ка сам взгляни. Почувствуй разницу.

Черныш фыркает, делает еще глоток и протягивает кув-

шин Грейди.

Верблюду косится на меня:

– Так как, ты говоришь, тебя зовут?

– Якоб Янковский.

– Ты рыжий.

– Я в курсе.

– А ты откуда?

Я медлю. Что сказать, я из Нориджа или из Итаки? Интересно, что он хочет услышать: откуда я удрал или где мои корни?

– Ниоткуда, – отвечаю я.

Лицо Верблюда застывает. Он чуть покачивается на кри-вых ногах, и колеблющаяся лампа льет вокруг неровный свет.

– Что-то натворил, малыш? Сбежал из тюрьги?

– Нет, – отвечаю я. – Ничего подобного.

Он щурится на меня еще некоторое время и затем кивает.

– Тогда ладно. Не мое дело. А куда направляешься?

– Не знаю.

– Ищешь работу?

– Да, сэр. Полагаю, что так.

– Что ж, с каждым может случиться. А что можешь де-лать?

– Да что угодно, – отвечаю я.

Грейди приносит кувшин и отдает Верблюду. Тот обтира-ет горлышко рукавом и передает кувшин мне:

– На вот, глотни.

Я, конечно, не раз баловался крепкими напитками, но са-могон – совсем другое дело. Он вспыхивает в груди и в голо-ве адским огнем. Дыхание перехватывает, на глазах высту-пают слезы, но я пытаюсь не отводить от Верблюда взгляда, несмотря на то что легкие вот-вот сгорят изнутри.

Верблюд наблюдает за мной и медленно кивает.

– Утром прибываем в Ютику. Я тебя отведу к Дядюшке Элу.

– К кому? Куда?

– Да к Алану Бункелю, Наиглавнейшему Управляющему, Властителю и Хозяину Всех Известных и Неизвестных Ми-ров.

Должно быть, видок у меня озадаченный – Верблюд снова беззубо усмехается.

– Малыш, только не говори мне, что ты не понял.

– Не понял чего? – спрашиваю я.

– Вот те на! – орет он остальным. – Представляете, маль-чики, он и правда не понял!

Грейди и Билл ухмыляются. Только Чернышу не смешно. Он хмурится и надвигает шляпу на нос.

Верблюд поворачивается ко мне, прокашливается и мед-ленно, смакуя каждое слово, начинает:

– Ты попал не просто в поезд, малыш. Ты попал в Пере-довой отряд «Самого великолепного на земле цирка братьев Бензини»!

– Куда-куда? – выдыхаю я.

Верблюд хохочет, держась за живот.

– Ах, как мило! Ну до чего же мило, – говорит он, фыркая и вытирая глаза тыльной стороной ладони. – Ох ты, господи! Ты угодил задницей прямо в цирк, дитя мое.

Я пялюсь на него и моргаю.

– Это у нас шапито, – говорит он, поднимая лампу и указывая скрюченным пальцем на огромный рулон брезента. – Один из наших вагонов с шатрами сошел с рельсов и разбился вдребезги, вот все это добро сюда и засунули. Можешь пока приткнуться поспать. Нам еще ехать часок-другой. Только не ложись слишком близко к двери, вот и все дела. А то и выпасть недолго.

Глава 3

Меня будит протяжный скрип тормозов. Я застрял между рулонами брезента довольно далеко от того места, где уснул, и потому не сразу понимаю, где я.

Поезд вздрагивает, останавливается и выпускает пар. Черныш, Билл и Грейди поднимаются на ноги и безмолвно выпрыгивают наружу. Когда они уходят, настает очередь Верблюда. Доковыляв до меня, он нагибается и пытается меня растолкать.

– Эй, малыш! – приговаривает он. – Ты должен выбраться отсюда до того, как придут за брезентом. Сегодня я попробую поговорить о тебе с Безумным Джо.

– С Безумным Джо? – садясь, переспрашиваю я. Ляжки зудят, а шея болит как черт-те что.

– Это наш главный, – поясняет Верблюд. – Точнее, главный над всей этой кладью. К манежу Август его не подпускает. На самом деле, сдается мне, его не подпускает туда Марлена, но какая разница? Она и тебя никуда не подпустит. А с Безумным Джо у тебя хотя бы есть шанс. Мы тут попали в непогоду и слякоть, и кое-кому из его ребят надоело вкалывать как проклятым. Так что они сделали ноги и оставили его на мели.

– А почему его зовут Безумным Джо?

– Кто его знает, – отвечает Верблюд, ковыряясь в ухе и

пристально изучая его содержимое. – Сдается мне, он побывал на каторге. Но за что – не выяснял. И тебе спрашивать не советую. – Он вытирает палец о штаны и направляется к двери.

– Ну, пойдём же! – кричит он мне оттуда, оглядываясь. – У нас мало времени. – Он садится на край и осторожно соскальзывает на насыпь.

Я напоследок отчаянно чешу ляжки, завязываю шнурки и слеую за ним.

Перед нами – огромная заросшая травой поляна. За ней в тусклом предрассветном свете тут и там виднеются кирпичные здания. Из поезда вываливаются сотни грязных немых людей. Они копошатся, словно муравьи вокруг леденца, ругаются, потягиваются, зажигают сигареты. Вагоны оцетиваются мостками и скатами, непонятно откуда прямо в грязи материализуются упряжки на шесть и восемь лошадей. А вот и сами лошади – грузные першероны с обстриженными хвостами. Они с топотом спускаются по мосткам, фыркая и раздувая ноздри. Даже сбруя уже на них. С обеих сторон от мостков рабочие придерживают качающиеся двери, чтобы лошади не приближались к краю.

Несколько рабочих, опустив головы, направляются к нам. – Привет, Верблюд! – говорит старший и забирается в вагон. Остальные карабкаются вслед за ним. Окружив рулон брезента, они тащат его к выходу, побрякивая от натуги. Пролетев полтора фута, рулон приземляется в облаке пыли.

– Привет, Уилл! – отвечает Верблюд. – Не угостишь старика сигареткой?

– Запросто, – рабочий выпрямляется, роется в карманах рубашки и наконец выуживает измятую сигарету. – Это «Булл Дарэм», – наклонившись, он протягивает сигарету Верблюду. – Ты уж прости.

– А что, разве ж я против самокрутки? – отвечает Верблюд. – Спасибо тебе, Уилл. Премного обязан.

– А это кто такой? – тычет в меня пальцем Уилл.

– Новичок. Якобом Янковским зовут.

Уилл смотрит на меня, поворачивается и выпрыгивает из вагона.

– Что, совсем новичок?

– Совсем.

– А ты его уже показывал?

– Не-а.

– Ну удачи вам. – Он кивает мне и дотрагивается до шляпы. – Ты только не спи слишком крепко, малыш – ежели, конечно, понимаешь, о чем я. – С этими словами он вновь исчезает внутри вагона.

Между тем среди грязных людей уже появились сотни лошадок. Если взглянуть со стороны – вокруг царит полнейший хаос, но когда Верблюд зажигает наконец свою самокрутку, несколько дюжин упряжек уже готовы и движутся вдоль вагонов, где их ждут фургоны. Как только передние колеса фургона касаются наклонного деревянного настила,

направляющий его рабочий отпрыгивает в сторону. И правильно делает. Нагруженные до предела фургоны с грохотом скатываются вниз и останавливаются только в дюжине футов от вагона.

Утренний свет позволяет разглядеть то, чего я не увидел ночью: фургоны выкрашены в красный цвет и отделаны золотом, даже колеса позолочены. На фургонах гордо значится: «БРАТЪЯ БЕНЗИНИ: САМЫЙ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЦИРК НА ЗЕМЛЕ». В каждый впрягается шестерка, а то и восьмерка першеронов, и лошади принимаются тащить свою нелегкую поклажу через поле.

– Берегись! – кричит Верблюд, хватая меня за руку и притягивая к себе. В другой руке у него шляпа, а в зубах зажата мятая самокрутка.

Мимо мчатся верхом трое. Свернув, они пересекают поле, объезжают его по периметру и несутся обратно. Тот, что скачет во главе, крутит головой по сторонам, внимательно осматривая землю. Вожжи он держит в одной руке, а другой вытаскивает из кожаного мешочка дротики с флажками и мечет их в землю.

– Что это он делает? – спрашиваю я.

– Размечает площадку, – отвечает Верблюд и подходит к вагону для перевозки лошадей. – Джо! Эй, Джо!

В дверном проеме появляется голова.

– У меня тут новенький. С пылу с жару. Он тебе, часом, не пригодится?

На мостки выходит человек. Чуть приподняв обтрепанную шляпу рукой, на которой всего два пальца, он пристально меня изучает, сплевывает из угла рта темно-коричневой, окрашенной табаком слюной и удаляется обратно.

Верблюд торжественно пожимает мне руку:

– Ты принят, малыш.

– Принят?

– Так точно. А теперь пойдика поубирай дерьмо. Я тебя потом найду.

В вагоне для перевозки лошадей творится что-то невообразимое. Я работаю в паре с парнишкой по имени Чарли. Лицо у него нежное, как у девушки, а голос еще даже не ломался. После того как мы выгребаем наружу что-то около тонны навоза, я прерываюсь и оглядываю оставшийся фронт работы.

– Сколько же здесь обычно лошадей?

– Двадцать семь.

– Боже. Их, должно быть, набивают так тесно, что они и пошевелиться не могут.

– Так и есть, – отвечает Чарли. – Как последнюю лошадь загонят, ни одна выйти не может.

Теперь понятно, что означали эти вчерашние торчащие наружу хвосты.

В дверях появляется Джо.

– Флаг подняли, – бурчит он.

Чарли бросает лопату и направляется к двери.

– В чем дело? Ты куда? – кричу вдогонку я.

– На кухне флаг подняли.

Я качаю головой:

– Прости, не понял.

– Жратва, – говорит он.

Вот это я понимаю. И тоже бросаю лопату.

Брезентовые шатры растут как грибы, хотя самый большой все еще не установлен. Вокруг него толпятся рабочие и, согнувшись, пытаются правильно его разложить. В середине уже возвышаются деревянные мачты, на самой высокой рет звездно-полосатый флаг. Быть может, дело в привязанных к ним веревках, но всё вместе очень напоминает палубу и мачты корабля.

По всему периметру бригады по восемь человек с кувалдами с головкружительной скоростью вколачивают боковые стойки. Пока одна из бригад вбивает стойку, пять остальных перемещаются дальше. Они поднимают ужасный шум, больше всего похожий на пулеметный огонь, до того громкий, что весь остальной гул на его фоне попросту теряется.

А вот устанавливают огромные шесты. Мы с Чарли минуем группу из десяти рабочих, которые всем своим весом повисли на единственной веревке, а стоящий в стороне человек командует: «Тянем, качаем, ослабляем! И снова – тянем, качаем, ослабляем! А теперь опускаем!»

Кухню ни с чем не перепутаешь: оранжево-голубой флаг, позади пытит котел, и все работники тянутся прямиком ту-

да. Запах еды ударяет в меня подобно пушечному ядру. Не ел я с позавчера, и желудок буквально сводит от голода.

Стены кухни возведены наспех, зато в середине она разделена занавесом. Столы на нашей стороне застелены скатертями в красно-белую клетку и украшены вазочками с цветами, на скатертях разложено столовое серебро. Все это ужасно дисгармонирует с длинной и извитой, как змея, очередью из грязных оборванных рабочих.

– Боже мой! – вырывается у меня, когда мы с Чарли занимаем очередь. – Ты только посмотри!

Тут и мясное рагу, и сосиски, и целые груды корзинок с толсто нарезанным хлебом. А еще ветчина, приготовленные так и этак яйца, джем в горшочках и даже миски с апельсинами.

– Да это что, – говорит Чарли. – У Большой Берты было все то же самое, да еще и официанты. Сидишь себе за столом, а тебе все приносят.

– У Большой Берты?

– У Ринглингов, – поясняет он.

– Ты у них работал?

– Ну... нет, – блеет в ответ он. – Зато мои приятели работали!

Я хватаю тарелку и наваливаю себе целую гору картошки, яиц и сосисок, стараясь при этом не выглядеть изголодавшимся бродягой. Запах просто ошарашивает. Я глубоко вдыхаю – это словно манна небесная. Это и в самом деле

манна небесная.

Откуда ни возьмись появляется Верблюд.

– Вот. Отдашь тому парню, в начале очереди, – говорит он, вкладывая мне в руку талончик.

«Парень в начале очереди» сидит на складном стуле и поглядывает на подходящих из-под опущенных полей мягкой фетровой шляпы. Я протягиваю ему талон. Он смотрит на меня, скрестив руки на груди.

– Служба? – интересуется он.

– Простите, что? – спрашиваю я.

– Из какой ты службы?

– Гм... не знаю, – отвечаю я. – Все утро выгребал навоз из вагонов для лошадей.

– И что дальше? – отвечает он, не обращая никакого внимания на мой талончик. – Это могли быть лошади из конного цирка, лошади, которые у нас на погрузке, а то и лошади из зверинца.

Я не отвечаю. Помнится, Верблюд упоминал разные службы, но если б я знал, чем они друг от друга отличаются...

– А раз ты не знаешь, к какой службе относишься, то ты не из цирковых, – заключает он. – Так кто же ты такой, черт тебя дерит?

– Все в порядке, Эзра? – спрашивает Верблюд, вырастая у меня из-за спины.

– Ничего не в порядке. Тут ко мне пристал какой-то хитрожопый проходимец – положил, видишь ли, глаз на наш

завтрак, – отвечает Эзра и сплевывает.

– Он не проходимец, – говорит Верблюд. – Просто новичок. Он со мной.

– Да-а?

– Да.

Эзра приподнимает шляпу и оглядывает меня с головы до пят. Еще чуть помедлив, он говорит:

– Ладно, Верблюд. Если ты за него ручаешься, пусть проходит. – Он выхватывает у меня талончик. – Да, и еще. Научи парня говорить что надо, покуда его тут не избил.

– Так из какой я службы? – спрашиваю я, направляясь к столу.

– Эй, не туда! – хватает меня за локоть Верблюд. – Эти столы не про нас. Держись меня, покуда не разберешься, что тут к чему.

Мы обходим занавес. На этой стороне от края до края жмутся один к другому простые деревянные столы, а на них – только солонки и перечницы. И никаких тебе цветов.

– А кто ест с той стороны? Артисты?

Верблюд бросает на меня резкий взгляд:

– Послушай, малыш! Пока не освоишь здешний жаргон, держи язык за зубами.

Он садится и немедля отправляет в рот полкуска хлеба. Пожевав немного, вновь смотрит на меня:

– Да ты не дуйся, дружище. Я же за тобой присматриваю. Ты видел Эзру, а Эзра у нас просто лапочка. Садись уже.

Потарасившись на него, я присаживаюсь на скамейку. Поставив на стол тарелку, осматриваю свои вымазанные в навозе руки и вытираю о штаны, но чище они не становятся. Тем не менее я берусь за еду.

– И какой же здесь жаргон? – спрашиваю наконец я.

– Артистов называют циркачами, – отвечает с набитым ртом Верблюд. – А твоя служба – погрузка. Пока что.

– Ну и где же эти циркачи?

– Еще появятся. Часть цирка еще в пути. Они, понимаешь ли, не спят допоздна, встают тоже не рано – зато к завтраку тут как тут. Кстати, раз уж мы об этом заговорили, не вздумай звать их в лицо «циркачами», понял?

– А как же их называть?

– Артистами.

– А почему нельзя просто называть их везде артистами? – начинаю раздражаться я.

– Есть они, и есть мы. Ты из наших, – отвечает Верблюд. – Ничего, научишься. – Вдали слышится паровозный гудок. – Вот ведь легки на помине...

– И Дядюшка Эл с ними?

– С ними, но о нем пока и думать забудь. К нему еще рано. Пока мы тут не обоснуемся, он всем недоволен, совсем как медведь, которого разбудили раньше времени. Скажи лучше, что там у тебя с Джо? Может, хватит с тебя лошадиного дерьма?

– Да я не против.

– Сдается мне, ты достоин лучшего. Я поговорил о тебе с одним своим приятелем, – продолжает Верблюд, отламывая еще кусок хлеба и собирая им жир с тарелки. – Сегодня будешь при нем, а уж он замолвит за тебя словечко.

– А что я должен буду делать?

– Все, что он скажет. Понял? – И он многозначительно поднимает бровь.

Приятель Верблюда – маленький человечек с огромным пузом и трубным голосом. Зовут его Сесил, а ведает он паноптикумом. Оглядев меня, он заявляет, что работенка для меня у него найдется. Работать я буду с Джимми и Уэйдом – еще двумя ребятами, выглядящими в достаточной степени презентабельно, чтобы смешаться с горожанами. Наша задача – занять наблюдательные посты вокруг толпы и по сигналу начать подталкивать ее ко входу.

Цирк расположился на ярмарочной площади, в этот час больше похожей на муравейник. На одной стороне бригада чернокожих натягивает транспаранты. На другой – шум и звон: это люди в белых куртках воздвигают пирамиды из стаканов с лимонадом на прилавках палаток в красно-белую полосу. Воздух напоен ароматами воздушной кукурузы и жареного арахиса, которым сопутствует едкий запах зверинца.

В дальнем конце площади, там, где продают билеты, раскинулся огромный шатер, куда везут на тележках самых разных зверей: лам, верблюдов, зебр, обезьян, по меньшей мере

одного белого медведя и целую кучу клеток с дикими кошками.

Сесил вместе с чернокожим рабочим суетятся вокруг транспаранта, на котором изображена какая-то невероятная толстуха. Миг спустя Сесил хлопает напарника по макушке.

– Давай-ка закругляйся, дружище! Через минуту сюда набегут толпы лохов. Как же мы их заманим, если не покажем всех прелестей Люсинды?

Раздается свисток, и все замирают.

– Двери! – грохочет мужской голос.

И разверзается ад. Продавцы лимонада устремляются за стойки, напоследок наводя марафет на прилавках и поправляя куртки и шапочки. А все чернокожие, за исключением того бедняги, что все еще возится с транспарантом, прячутся от людских взоров в брезентовом шатре.

– Да приделай его уже, черт тебя дери, и вали отсюда! – кричит ему Сесил. Поправив транспарант, рабочий исчезает.

Я оборачиваюсь. На нас стеной надвигаются люди. Впереди – вопящие дети, тянущие за руки родителей.

Уэйд толкает меня локтем в бок:

– Эй! Только тише. Хочешь посмотреть зверинец?

– Что?

Он кивает головой в сторону брезентового шатра между нами и шапито.

– Да ты же только туда и косишься. Хочешь глянуть?

– А он? – Я бросаю взгляд в сторону Сесила.

– Да мы быстро – он и не заметит. К тому же, покуда он не начнет зазывать толпу, делать нам нечего.

Уэйд увлекает меня ко входу. Его охраняют четыре старика за красными стойками. Трое не обращают на нас никакого внимания. Четвертый, взглянув на Уэйда, кивает.

– Давай глянь. А я тебя свистну, если что, – говорит Уэйд. Я заглядываю в шатер. Какой же он огромный, до самого неба, а держится на длинных прямых шестах, торчащих под разными углами. Брезент натянут туго-туго и чуть ли не просвечивает: пробивающийся сквозь материал и швы солнечный свет выхватывает прежде всего ларек со сладостями, возвышающийся во всем своем великолепии в самом центре зверинца, в окружении плакатов, рекламирующих лимонад, воздушную кукурузу и молочные коктейли.

Вдоль двух из четырех стен зверинца выстроены яркие, раскрашенные в пурпур и золото клетки, а в них – львы, тигры, пантеры, ягуары, медведи, шимпанзе, паукообразные обезьяны – и даже орангутан! А верблюды, ламы, зебры и лошади стоят, зарывшись мордами в охапки сена, за низкими веревками, натянутыми между стальными кольями. И наконец, в ограждении из проволочной сетки обитают два жирафа!

Я ищу слона, но напрасно – и тут мой взгляд на миг останавливается на девушке. До чего она похожа на Кэтрин! У меня даже дыхание перехватывает. Тот же овал лица, та же прическа – и стройные бедра, именно такие я всегда пред-

ставлял под строгими юбками Кэтрин. Девушка стоит перед выстроившимися в ряд вороными и белыми лошадками и разговаривает с человеком в цилиндре и во фраке. Она вся в розовых блестках, на ней трико и атласные туфельки. Вот она поглаживает по морде одну из белых лошадей, потрясающего арабского скакуна с серебристой гривой и хвостом. Поднимает руку, чтобы откинуть со лба прядь каштановых волос и поправить головной убор. А потом поправляет челку жеребцу, зажимает его ухо в кулак и пропускает между пальцами.

Раздается оглушительный треск. Я оборачиваюсь и обнаруживаю, что захлопнулась дверца ближайшей клетки. А повернувшись обратно, вижу, что девушка смотрит прямо на меня. И чуть хмурит бровь, как будто узнав. Мне приходит в голову, что надо бы улыбнуться, потупить взор, сделать хоть что-нибудь наконец, но я не могу. Человек в цилиндре кладет руку ей на плечо, и она отворачивается, но медленно и нехотя. Миг спустя она вновь украдкой взглядывает на меня.

Появляется Уэйд.

– Пора! – говорит он мне, хлопнув по спине. – Начинается.

– Дамы и господа! До начала представления целых два-а-адцать пять минут! Два-а-адцать пять минут! Вы еще успеете увидеть своими собственными глазами невероятные, умопомрачительные чудеса, привезенные из всех уголков зем-

ного шара, и занять хорошее место в шапиту. Любопытнейшие курьезы и капризы природы! Во всем мире не найдется другой такой коллекции, дамы и господ! Поверьте мне, во всем мире!

Сесил забрался на возвышение у входа в паноптикум. Он ходит туда-сюда с напыщенным видом и отчаянно жестикулирует. Вокруг него – толпа человек в пятьдесят, которые, однако, не то чтобы стоят и слушают, а скорее задержались мимоходом.

– Проходите сюда – и вы увидите великолепную, грандиозную Милашку Люсинду – самую прекрасную толстуху в мире. Восемьсот восемьдесят пять фунтов² пышнейшего совершенства, дамы и господа! Заходите и взгляните на человека-страуса – он проглотит и вернет вам обратно все что угодно. Проверьте сами! Бумажник, часы, даже лампочку! Только дайте – и он извергнет все это обратно! И не забудьте взглянуть на Фрэнка Отто, самого татуированного человека в мире! Он был заложником в диких джунглях Борнео, его судили за преступление, которого он не совершал, а наказание? Так вот, друзья мои, наказание записано вечными чернилами прямо у него на коже!

Толпа растет, любопытство достигает апогея. Мы с Джимми и Уэйдом заходим с краев и протискиваемся в ряды публики.

– А еще... – продолжает Сесил, совершив оборот вокруг

² Около 400 кг.

себя. Он подносит палец к губам и преувеличенно подмигивает – так, что уголок рта поднимается прямо к глазу. Затем вздымает руку, прося тишины. – А еще... прошу прощения у милых дам, но это только для мужчин – только для мужчин! А коль скоро здесь присутствуют дамы, я, дабы не нарушать приличий, скажу лишь вот что. Если вы истинный американец, если в ваших жилах течет кровь настоящего мужчины, то вы не устоите перед таким зрелищем! Стоит вам последовать вон за тем парнем – во-он за тем, – и вы увидите нечто столь захватывающее, столь потрясающее, что, уверяю вас... – Он останавливается, закрывает глаза, вновь поднимает руку и с сожалением качает головой. – Нет, дабы не нарушать приличий, коль скоро здесь присутствуют дамы, я не скажу больше ни слова. Простите, господа, ни слова. За исключением одного: вы не устоите перед этим зрелищем! Заплатите всего четверть доллара вон тому парню – и он вас выпустит. Вы на всю жизнь запомните эту четверть доллара, как запомните и то, что увидите внутри. Вам будет о чем рассказывать знакомым до конца ваших дней, друзья мои. До конца ваших дней!

Сесил выпрямляется и обеими руками одергивает за полы клетчатый жилет. На лице его появляется почтительное выражение, и он указывает широким жестом на вход с противоположной стороны:

– А вы, дорогие дамы, проходите вон туда – там найдутся чудеса и диковины, которые не оскорбят ваших чувств. Ис-

тинный джентльмен всегда должен заботиться о дамах. Особенно о таких прекрасных дамах, как вы. – Он улыбается и прикрывает глаза. Женщины тем временем нервно поглядывают на удаляющихся мужчин.

И тут разгорается баталия. Одна из женщин хватается мужа за рукав, а свободной рукой отвешивает ему оплеуху за оплеухой. Он кривится и хмурится, уворачиваясь от ее ударов. Еле-еле отбившись, он поправляет лацканы пиджака и сердито смотрит на разгневанную жену. Когда он наконец гордо удаляется, зажав в руке четвертак, кто-то не выдерживает и фыркает. И вот уже хохочет вся толпа.

Остальные женщины, видимо не желая устраивать сцены, недовольно смотрят на выстраивающихся в очередь мужей. Заметив их взгляды, Сесил спускается со своего возвышения. Теперь он всем своим видом выражает участие и почтение – и исподволь подводит дам к мысли, что неплохо бы и им поразвлечься.

Сесил касается мочки левого уха, и я незаметно продвигаюсь вперед. Женщины смыкаются вокруг него в более тесное кольцо. Я чувствую себя пастушьей собакой.

– Итак, если вы направите свои стопы вон туда, дорогие дамы, – продолжает он, – я покажу вам то, чего вы никогда прежде не видывали. До того необычное, до того удивительное – вам такое даже не снилось! Не сомневайтесь, вам будет о чем порассказывать в воскресенье в церкви или своим почтенным родителям за обедом. Спешите, спешите – и не

забудьте взять с собой детишек, ведь это забава для всей семьи. Вы увидите лошадь, у которой голова на месте хвоста! Я не шучу, дорогие дамы! Живое существо, у которого хвост на месте головы! Так взгляните же на него своими собственными глазами. А когда вы расскажете о нем муженькам, они еще пожалеют, что так не вовремя покинули своих любезных женушек. Да, дорогие мои. Они еще пожалеют!

Я между тем попал в окружение. Вокруг меня – ни одного представителя сильного пола, меня несет поток благонамеренных церковных прихожан и женщин с детьми – всех тех, в чьих жилах не течет кровь настоящего мужчины.

Лошадь с хвостом на месте головы представляет собой не что иное, как лошадь с хвостом на месте головы: она стоит в загоне мордой к стене, а хвост ее свисает прямо в кормушку.

– Да что ж это делается! – в сердцах восклицает одна из женщин.

– Ну и ну! – подхватывает другая, но большинство с облегчением смеются. Если это лошадь с хвостом на месте головы, значит и мужчин ждет такой же сюрприз.

Между тем рядом с шатром начинается потасовка.

– Эй ты, сукин сын! Да, черт возьми, я хочу назад свои деньги – ты что думал, я отдам четвертак, чтоб увидеть какую-то ублюдочную пару подтяжек? Кто тут говорил о настоящих мужиках? Ну я мужик! Верните деньги!

– Простите, мадам, – проталкиваюсь я между двумя идущими впереди меня женщинами.

– Эй, парень! Ты куда торопишься?

– Извините. Прошу прощения, – повторяю я, прокладывая себе дорогу.

Сесил занял боевую стойку напротив краснолицего мужчины. Тот бросается на него, хватая обеими руками за грудки и отшвыривает. Толпа расступается, и Сесил обрушивается на полосатый край помоста. Зрителей все прибывает, они встают на цыпочки, тараща глаза.

Пробившись через их ряды, я добираюсь до Сесила как раз в тот миг, когда его противник замахивается и наносит удар. Однако я перехватываю его кулак буквально в нескольких дюймах от подбородка Сесила и заламываю руку за спину. Закрутив ее вокруг шеи, я оттаскиваю его назад. Брызжа слюной, он поднимается и вцепляется мне в руку. Я стискиваю его еще крепче, пережимаю трахею и полувываскиваю, полувывожу за пределы ярмарочной площади. Там я швыряю его на землю. Он валяется в облаке пыли, пыхтя и хватаясь за горло.

Миг спустя мимо меня проносятся два человека в костюмах, берут его под белые ручки и волокут в сторону города. Он продолжает кашлять, они же, склоняясь к нему, похлопывают по спине и всячески подбадривают. И даже поправляют ему шляпу, которая чудодейственным образом с него не свалилась.

– Здорово сделано, – говорит Уэйд, хлопнув меня по плечу. – Молодец. Пойдем обратно. Уж они о нем позаботятся.

– А кто это такие? – спрашиваю я, разглядывая кровото-
чащие длинные царапины у себя на руке.

– Затячки. Они его успокоят и осчастливят. Чтобы у нас
не было неприятностей. – Он отворачивается и обращается
к толпе, громко хлопнув в ладоши и потирая руки. – Все в
порядке, друзья мои. Здесь смотреть больше не на что.

Однако толпа расходиться не желает. Только когда герой
вместе с сопровождающими скрывается за зданием из крас-
ного кирпича, зрители нехотя начинают удаляться, да и то
все время оглядываются: а вдруг пропустят что-то интерес-
ное?

Сквозь остатки толпы пробивается Джимми.

– Эй! – говорит он мне. – Тебя зовет Сесил.

Джимми ведет меня куда-то за шатер. Сесил, с красным
потным лицом, сидит на самом краешке складного стула,
вытянув ноги в гетрах, и обмахивается программкой. Сво-
бодной рукой он обшаривает свои многочисленные карма-
ны и наконец извлекает из кармана жилета плоскую квадрат-
ную бутылочку. Вывернув губу, вытаскивает пробку зубами
и, выплюнув, запрокидывает бутылку. Тут его взгляд падает
на меня.

Он глазеет на меня минуту-другую, не убирая бутылки
ото рта, и наконец ставит ее прямо на круглый живот. После
чего принимается разглядывать меня так и этак, барабаня по
животу пальцами.

– А ты себя неплохо держал, – наконец произносит он.

– Спасибо, сэр.

– Где ж ты этому научился?

– Даже не знаю. На футбольном поле. В школе. Или когда укрощал дикого быка, который не хотел расстаться со своими яичками.

Он разглядывает меня еще некоторое время, не прекращая барабанить пальцами и поджав губы.

– Верблюды уже устроили тебя к нам на работу?

– Формально говоря, нет. Нет, сэр.

Продолжая молчать, он сужает глаза до щелочек:

– Умеешь держать язык за зубами?

– Да, сэр.

Как следует отхлебнув из бутылки, Сесил перестает щуриться.

– Ну ладно, – говорит он, неторопливо кивая.

Наступает вечер, и, пока циркачи развлекают публику в шапито, я стою за небольшим шатром, что прячется за багажными фургонами в дальнем углу площади. В шатер попадают лишь люди сведущие, да и то заплатив пятьдесят центов. Внутри темно, только гирлянда из красных лампочек льет теплый свет на женщину, постепенно снимающую с себя одежду.

Я поставлен следить за порядком и время от времени хлопывать по стенам шатра железной трубой, чтобы отбить у парней охоту подглядывать: верней, чтоб у них появилась

охота обойти шатер и заплатить пятьдесят центов. А еще мне велено пресекать любые нарушения порядка, вроде давешнего, хотя, сдается мне, здесь бузотеру жаловаться было бы не на что.

В шатре двенадцать рядов складных стульев – и ни одного свободного места. То здесь, то там луна высвечивает мужчин, на ощупь тянущихся к бутылке, лишь бы не отводить глаз от сцены.

Все взгляды устремлены на статную рыжеволосую женщину с черными ресницами, слишком длинными для настоящих, и с родинкой, нарисованной над пухлой верхней губой. У нее длинные ноги, полные бедра, а грудь просто ошеломительна. Женщина уже разделась до трусиков, переливающейся прозрачной шали и переполненного плотью лифчика и теперь, поводя плечами, тянет время вместе с небольшим ансамблем, расположившимся слева от нее.

Вот она проходит туда-сюда по сцене в отделанных перьями туфельках. Звучит барабанная дробь, и она замирает, приоткрыв рот в притворном удивлении. Откинув голову и обнажив горло, тянется к чашечкам лифчика. Наклоняется вперед и сжимает их, пока плоть наконец не проступает между ее пальцами.

Я осматриваю стены. Из-под брезента выглядывают носки туфель. Остановившись напротив, я разворачиваю трубу и шлепаю по брезенту. Раздается мычание, и туфли исчезают. Я медлю, приложив ухо к шву, и возвращаюсь на свою

наблюдательную позицию.

Рыжая качается в такт музыке, поглаживая шаль пальчиками с маникюренными ноготками. В шаль вплетены не то золотые, не то серебряные нити, посверкивающие, когда та скользит по ее плечам. Неожиданно красотка наклоняется, откидывает голову и принимается дрожать всем телом.

Тут и там слышатся крики. Пара-тройка зрителей вскакивают и начинают поощрительно трясти кулаками. Я оглядываюсь на Сесила, стальной взгляд которого приказывает мне за ними последить.

Женщина останавливается, поворачивается спиной к зрителям и выходит на середину сцены. Медленно пропускает шаль между ляжек, и из публики доносятся стоны. Развернувшись к нам лицом, продолжает возить шаль туда-сюда, прижимая ее так плотно, что становится видно щелочку между ног.

– Ну, снимай же, малышка! Все снимай!

Мужчины приходят в неистовство. Вот уже больше половины вскочили на ноги. Сесил делает мне знак рукой, и я подхожу поближе к зрителям.

Шаль падает на пол, и женщина снова отворачивается. Трясет волосами – они волной рассыпаются по спине. Поднимает руки – и пальцы сходятся на застежке лифчика. Толпа приветствует ее восторженными криками. Помедлив, она оглядывается и подмигивает, кокетливо спуская с плеч лямки. Наконец лифчик падает на пол, и она поворачивается, за-

крыв груди руками. Среди мужчин раздаются возгласы протеста.

– Ну, давай же, душечка, покажи, что там у тебя!

Она качает головой, жеманно надув губы.

– Ну, не томи! Я же заплатил пятьдесят центов!

Она вновь качает головой, с притворной скромностью потупив взор. И вдруг, распахнув глаза и приоткрыв рот, отнимает руки.

И два внушительнейших шара обрушиваются вниз! Резко остановившись, они начинают чуть покачиваться, хотя их обладательница совершенно неподвижна.

У зрителей перехватывает дыхание, но тут же благоговейное молчание нарушают восторженные вопли.

– Вот это девочка!

– Господи помилуй!

– Вот ведь черт!

Она начинает себя поглаживать, приподнимая и разминая груди и крутя между пальцами соски. Похотливо поглядывая на мужчин, водит язычком по верхней губе.

Вновь раздается барабанная дробь. Женщина крепко зажимает отвердевшие соски большим и указательным пальцами и поднимает одну из грудей вверх – так, что сосок указывает прямо в потолок. Грудь принимает совершенно иную форму. Она отпускает сосок – и грудь вновь резко обрушивается. Взявшись за сосок, она так же поднимает вторую грудь. И принимается чередовать их, набирая скорость. Поднима-

ет, роняет, поднимает, роняет – и тут уже замолкает барабан и вступает гобой, руки ее движутся так быстро, что теряют очертания, а плоть колеблется и раскачивается.

Зрители вопят, тут и там раздаются одобрительные возгласы.

– О да!

– Роскошно, малышка! Роскошно!

– Господи помилуй!

И снова рокошет барабан. Она наклоняется, и ее великолепные груди раскачиваются из стороны в сторону низко-низко, тяжелые, как гири, и не меньше фута длиной, более округлые внизу, как будто в каждой прячется грейпфрут.

Она поводит плечами – сперва одним, потом другим, и груди качаются в противоположных направлениях. Качаются все быстрее и быстрее, расходящимися кругами, и удлиняются, набирая обороты, а потом встречаются с отчетливо слышимым шлепком.

Боже. В шатре могла запросто завязаться драка, а я бы и не заметил. Кровь напрочь отхлынула от головы.

Красотка выпрямляется и делает книксен. А потом подносит грудь к лицу и облизывает сосок, после чего засовывает его себе прямо в рот. И вот она стоит и бесстыже сосет собственную грудь, а мужчины машут шляпами, сжимают кулаки и кричат, словно животные. Уронив лоснящийся сосок, она чуть подергивает за него напоследок и посылает зрителям воздушный поцелуй. Наклонившись пониже, под-

хватывает с пола свою прозрачную шаль и удаляется, неся шаль в поднятой руке словно трепещущий на ветру флаг.

– Вот и все, мальчики, – говорит Сесил, поднимаясь на сцену и аплодируя. – Давайте-ка как следует похлопаем нашей Барбаре!

Мужчины одобрительно кричат, свистят и аплодируют, подняв руки над головой.

– Ну не чудо ли она? Что за женщина! А сегодня, мальчики, вам особенно повезло, поскольку только сегодня после окончания представления она согласилась принять нескольких посетителей. Она оказывает вам честь, господа. Ведь она же сокровище, наша Барбара. Истинное сокровище.

Мужчины толпятся у выхода, хлопая друг друга по спине и обмениваясь впечатлениями.

– Видал, какие сиськи?

– А то! Да я бы что угодно отдал, лишь бы малость их потискать.

Я рад, что моего участия не требуется, поскольку никак не могу взять себя в руки. Прежде я ни разу не видел обнаженной женщины, и отныне, кажется, стал другим человеком.

Глава 4

Еще три четверти часа я охраняю костюмерный шатер Барбары, где она развлекает своих посетителей. Лишь пятеро согласились расстаться для этого с двумя долларами и теперь мрачно выстроились в очередь. Вот первый заходит в шатер и через семь минут возни и стонов появляется на пороге, неловко застегивая ширинку. Стоит ему отойти, как заходит следующий.

Наконец последний из посетителей покидает шатер, и вслед за ним оттуда выходит Барбара. На ней нет ничего, кроме восточного шелкового халата, который она даже не потрудилась толком запахнуть. Волосы у нее спутаны, рот весь в губной помаде. В руке она держит зажженную сигарету.

– Свободен, милый, – говорит она и делает мне знак удалиться. От нее здорово несет виски, да и взгляд не то чтобы трезвый. – Халявы сегодня не будет.

Я возвращаюсь в шатер, где она показывала стриптиз, и, пока Сесил подсчитывает выручку, складываю стулья и разбираю сцену. По окончании у меня в кармане появляется доллар, но сам я нахожусь в полнейшем оцепенении.

Шапито все еще на месте – светится, словно какой-то призрачный театр, и пульсирует в такт музыке. Я таращусь на него, замороженный смехом публики, ее аплодисментами и

свистом. Порой у зрителей перехватывает дыхание, а иногда слышатся взволнованные вскрики. Я смотрю на карманные часы: без четверти десять.

Мне страсть как охота увидеть хотя бы кусочек представления, но я боюсь, что на площади меня могут перехватить и снова загрузить работой. Разнорабочие, которые днем в основном спали где-нибудь в укромном уголке, разбирают брезентовый город не менее ловко, чем возводили его утром. Шатры падают на землю, шесты рушатся вслед за ними. По площади снуют лошади, фургоны и люди, таща все подряд обратно к железной дороге.

Я сажусь на землю и утыкаюсь головой в колени.

– Якоб! Это ты?

Я поднимаю взгляд. Надо мной, прищурившись, склоняется Верблюд.

– Ну да, так я и думал, – говорит он. – Глаза стали совсем никудышные.

Он устраивается рядом со мной, достает маленькую зеленую бутылочку и, вытащив пробку, отпивает.

– Якоб, а ведь я уже стар для этой работы... К концу дня все тело ноет. Оно, черт подери, уже сейчас ноет, а день еще не закончился. Передовому отряду сниматься через пару часов, а еще через пять начинать все сначала. Ну просто никакого житья нет старику.

Он передает мне бутылку.

– Господи, это что же такое? – спрашиваю я, разглядывая

отвратительного вида жидкость.

– Джейк³, – отвечает он, отнимая у меня бутылку.

– Вы пьете эту дрянь?

– Ну да, а что?

С минуту мы сидим молча.

– Чертов сухой закон, – наконец говорит Верблюд. – Эта штука была вполне сносна на вкус, пока правительство не решило, что так не пойдет. Она, конечно, и сейчас пробирает, но вкус – хуже некуда. И это просто ужас какой-то, ведь только она и держит меня на ходу. Я, знаешь, совсем поизносился. Гожусь теперь разве что продавать билеты, да и то лицом не вышел.

Оглядев его, я решаю, что он прав.

– А может, есть работа полегче? Скажем, за кулисами?

– Билетер – это уже дальше некуда.

– А потом? Когда вы уже не сможете ни с чем справляться?

– Полагаю, тогда меня ждет свидание с Чернышом. Послушай, – он с надеждой смотрит на меня, – а сигаретки у тебя не найдется?

– Увы.

– Так я и думал.

Мы сидим и молчим, глядя, как бригады рабочих заталкивают цирковое хозяйство, животных и брезент обратно в поезд. Как артисты, покидая шапито через задний вход, ис-

³ Суррогатный джин – ямайский экстракт имбиря.

чезают в костюмерных шатрах и появляются уже в городской одежде. Они стоят группками, болтают и смеются, а некоторые утирают пот. Даже без цирковых костюмов выглядят они роскошно. А вокруг суетятся неряшливо одетые рабочие, которые живут вроде бы в той же вселенной, но, похоже, в ином измерении. Эти два мира как будто друг с другом не связаны.

В мои раздумья вторгается Верблюд:

– А ты небось в колледже учился?

– Да, сэр.

– Я сразу понял.

Он вновь протягивает мне бутылку, но я качаю головой.

– А закончил?

– Нет, – отвечаю я.

– А что так?

Я пропускаю его вопрос мимо ушей.

– Сколько же тебе лет, Якоб?

– Двадцать три.

– У меня сын такой же.

Музыка стихает, и из шапито начинают выходить горожане. Они недоуменно оглядываются по сторонам, пытаясь понять, где же зверинец, сквозь который они заходили. Стоит им выйти через главный вход, как целая армия рабочих заходит через задний и возвращается с прожекторами, сиденьями, бортами манежа, которые тут же с шумом запикиваются в деревянные фургоны. Шапито начинают сворачивать еще

до того, как публика расходится.

Верблюд кашляет, и все тело его сотрясается от усилий. Я пытаюсь похлопать его по спине, но он жестом отстраняет мою руку. Он всхрапывает, отхаркивается и сплевывает, после чего вновь тянется к бутылке. Отерев рот тыльной частью ладони, он оглядывает меня с макушки до пят.

– А теперь слушай, – говорит он. – Не хочу лезть в твои дела, но ежу понятно, что бродяжничаешь ты недолго. Слишком уж ты чистенький, и одежда слишком хорошая, и с собой ничего нет. Когда бродяжничаешь, подбираешь всякие вещи – пусть и не самые лучшие, но все равно подбираешь. Не обижайся, я тебе тут не лекцию читаю – просто думаю, что мальчику вроде тебя не место среди бродяг. Я свое отбродяжничал – это не жизнь. – Он опирается локтями на колени. – Если тебе есть куда вернуться, прошу тебя, вернись.

Я медлю с ответом. А когда начинаю говорить, голос у меня дрожит.

– Некуда.

Он еще некоторое время на меня смотрит, а потом кивает.

– Жаль. Очень жаль.

Толпа рассеивается, утекает от шапито к автостоянке и дальше, к окраине города. Откуда-то из-за шатра к небу взлетает воздушный шарик, и тотчас же раздается детский рев. То тут, то там слышится смех, шум заводящихся двигателей, громкие, перевозбужденные голоса.

– И как ей только удалось так изогнуться?

– Я думал, что помру, когда у клоуна свалились подтяжки.

– Где же Джимми? Хэнк, Джимми с тобой?

Вдруг Верблюд поднимается на ноги.

– Хо! Вот и он. Наш старый козел.

– Кто?

– Дядюшка Эл! Пойдем-ка! Нужно устроить тебя на работу.

Он хромает прочь куда быстрее, чем я ожидал. Я встаю и слеую за ним.

А вот и Дядюшка Эл. Ошибиться невозможно – на нем просто-таки написано, что он тут главный. Все при нем: и алый плащ, и белые бриджи, и цилиндр, и даже набриоленные завитые усики. Он пересекает площадь словно главнокомандующий, выпятив внушительных размеров живот и громогласно отдавая приказы направо и налево. Вот он пережидает, пока пронесут клетку со львом, вот минует бригаду, пытающуюся поднять свернутый шатер. Не останавливаясь, влепляет одному из рабочих оплеуху. Тот охает и оборачивается, потирая ухо, но Дядюшка Эл со своей свитой уже далеко.

– Я вот еще что подумал, – бросает мне через плечо Верблюд. – О чем бы ни зашла речь, не упоминай при нем Ринглингов.

– Почему?

– Не упоминай – и все тут.

Верблюд хромает к Дядюшке Элу и встает у него на пути.

– Ну надо же, вот и вы, – говорит он притворно хнычущим голосом. – Можно вас на пару слов, сэр?

– Не сейчас, дружище. Не сейчас, – гудит Дядюшка Эл, удаляясь вразвалочку, словно фашист из роликов, которые показывают в кино перед началом фильма. Верблюд ковыляет вслед за ним, заглядывая в лицо с одной стороны, а потом перебегает на другую, как заискивающий щенок.

– Сэр, да я коротко. Хотел только спросить, не нужен ли вам куда человек.

– Никак мы решили заняться карьерой?

Верблюд аж захлебывается:

– Ну что вы, сэр! Речь не обо мне. Мне и на своем месте неплохо. О да, сэр. Я и так рад-радешенек, – хихикает он, словно юродивый.

Расстояние между ними увеличивается. Верблюд спотыкается и останавливается.

– Сэр! – зовет он, а Дядюшка Эл меж тем удаляется. – Послушайте, сэр!

Но Дядюшка Эл исчезает и теряется среди людей, лошадей и фургонов.

– Вот дьявол! Ей-же-ей, вот дьявол! – произносит он, срывая с головы шляпу и швыряя на землю.

– Не беспокойтесь, Верблюд, – говорю я. – Спасибо, что попытались.

– Как это – не беспокойтесь! – кричит он.

– Верблюд, я...

– Прекрати! И слышать не хочу. Ты хороший мальчик, и разве же я могу стоять и смотреть, как тебя спишут со счетов только лишь потому, что у этого толстого старого индюка нет времени? Нет уж, увольте. Так что будь добр, уважь старика и не мешай мне покуда.

Глаза у него загораются.

Я наклоняюсь, поднимаю его шляпу и счищаю грязь, после чего протягиваю ему обратно.

Помедлив, он соглашается ее взять.

– Ну ладно, – угрюмо говорит он. – Разберемся.

Верблюд подводит меня к фургону и велит подождать снаружи. Я прислоняюсь к одному из огромных колес со спицами и коротаю время, то выковыривая занозы из-под ногтей, то покусывая травинку. В какой-то миг я роняю голову на плечо и чуть не засыпаю.

Верблюд появляется через час. Он пошатывается, в одной руке у него фляга, а в другой – самокрутка. Веки у него подрагивают, точно приспущенные флаги.

– Это Граф, – бормочет он, указывая рукой куда-то себе за спину. – Он о тебе позаботится.

Из фургона выходит лысый человек. Он огромного роста, шея у него толще головы, а пальцы и волосатые руки украшены размытыми зелеными татуировками. Он протягивает мне руку.

– Ну здравствуй!

– Здравствуйте! – озадаченно отвечаю я, скосившись в сторону Верблюда, но тот уже зигзагами движется по хрусткой траве в сторону Передового отряда. И поет. Причем кошмарно.

Граф складывает ладони рупором и подносит ко рту:

– Эй, Верблюд, перестань! Поспешి лучше на поезд, пока он не ушел без тебя.

Верблюд падает на колени.

– Ох ты боже! – говорит Граф. – Обожди минутку, я сейчас.

Он спешит к старику и легко поднимает его с земли, словно ребенка. Верблюд, хихикая и вздыхая, виснет всем телом на ручищах Графа.

Граф доносит Верблюда до вагона, переговаривается с кем-то внутри и возвращается.

– Когда-нибудь эта гадость убьет старика, – бормочет он, проходя мимо меня. – Если у него не сгниют кишки, он скатится под этот чертов поезд. Сам я к такому даже не притрагиваюсь, – бросает он мне через плечо.

Я словно прирос к тому месту, где он меня оставил.

Он удивляется:

– Ты вообще идешь, или что?

Когда поезд отправляется, я сижу, согнувшись в три погибели, под полкой в спальном вагоне, тесно прижавшись еще к одному рабочему. Он законный владелец этого закутка, но

его удалось уговорить потесниться на часок-другой за только что заработанный мною доллар. Впрочем, он все равно ворчит, и я сижу, обхватив колени, чтобы занимать как можно меньше места.

В вагоне царит запах невымытых тел и грязной одежды. Полки навешаны по три друг над другом, и на каждой непременно кто-то есть, а иногда и двое. Даже все места под нижними полками и то заняты. Парень, пристроившийся на полу напротив меня, комкает тонкое серое одеяло, безуспешно пытаясь соорудить из него подушку.

Сквозь шум до меня доносится: «Ojczy nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje...»⁴

– О господи! – бормочет мой сосед и высовывает голову в проход. – По-английски говори, ты, поляк чертов! – Выругавшись, он возвращается под полку, качая головой. – Один из этих. Прямиком с этого их ублюдочного корабля.

«...i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od zlego. Amen»⁵.

Я устраиваюсь у стены и, закрыв глаза, шепчу: «Аминь».

Поезд кренится. Свет мигает и гаснет. Откуда-то сверху доносится свисток. Мы начинаем перекатываться вперед, свет снова загорается. Я измотан дальше некуда, голова бьется прямо о стену вагона.

⁴ «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое...» (польск.)

⁵ «...и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Аминь» (польск.).

Проснувшись некоторое время спустя, я обнаруживаю прямо перед своим носом пару огромных рабочих ботинок.

– Ну что, готов?

Я трясую головой, пытаюсь прийти в себя.

Где-то рядом скрипят и хрустят сухожилия. Потом я вижу колено. Потом лицо Графа.

– Ты все еще здесь? – говорит он, заглядывая под полку.

– Да. Простите.

Я выбираюсь из-под полки и с трудом встаю на ноги.

– Аллилуйя! – говорит, вытягиваясь в полный рост, хозяин места.

– Pierdol się!⁶ – отвечаю я.

Из-под полки в нескольких футах от нас раздается смешок.

– Пойдем, – говорит Граф. – Эл принял в самый раз, чтоб стать поговорчивей, но не так, чтоб начать буяннить. По-моему, это твой шанс.

Мы проходим еще через два спальных вагона и выходим в тамбур, после которого начинаются совсем другие вагоны. Через окошко я замечаю полированное дерево и замысловатые светильники.

Граф поворачивается ко мне:

– Готов?

– Разумеется, – отвечаю я.

Нет, я не готов. Граф хватает меня за шиворот и впечаты-

⁶ Да пошел ты! (*польск.*)

вает физиономией прямо в дверной проем. И, открыв другой рукой раздвижную дверь, впихивает внутрь. Вытянув перед собой руки, я падаю вперед, прямо на медную решетку. Выпрямившись, в ужасе оглядываюсь на Графа. И тут вижу остальных.

– Это что еще такое? – спрашивает из глубины кресла Дядюшка Эл. Он сидит за столом в обществе еще трех джентльменов, крутя в пальцах толстую сигару, а в другой руке держа веером пять карт. На столе перед ним рюмка бренди, а рядом – целая куча покерных фишек.

– Он запрыгнул в поезд, сэр. Шнырял в спальном вагоне.

– Правда? – Дядюшка Эл неторопливо затягивается и кладет сигару на край пепельницы. Откинувшись, он изучает свои карты и пускает дым из уголков рта. – Если вы ставите три, я ставлю пять. – Наклонившись, он швыряет в банк стопку фишек.

– Отправить обратно? – спрашивает Граф и поднимает меня с пола за лацканы. Напрягшись, я вцепляюсь руками в его запястья, чтобы было на чем повиснуть, если он снова надумает меня швырнуть. И перевожу взгляд то на Дядюшку Эла, то на подбородок Графа – больше мне ничего не видно.

Дядюшка Эл складывает карты и аккуратно кладет перед собой на стол.

– Не спеши, Граф, – говорит он и снова тянется за сигарой. – Поставь-ка его на место.

Граф ставит меня на пол спиной к Дядюшке Элу и равно-

душно отряхивает мой пиджак.

– Иди сюда, – говорит Дядюшка Эл.

Я повинуюсь, радуясь, что теперь-то Граф до меня не дотянется.

– Не верю глазам своим, – произносит Дядюшка Эл, пуская колечко дыма. – И как же тебя зовут?

– Якоб Янковский, сэр.

– И что, скажи мне на милость, Якоб Янковский делает в моем поезде?

– Ищу работу, – отвечаю я.

Дядюшка Эл продолжает меня разглядывать, лениво пуская колечки дыма. Положив руки на живот, он медленно барабанит по нему пальцами.

– А ты когда-нибудь работал в цирке, Якоб?

– Нет, сэр.

– А ты хоть бывал в цирке, Якоб?

– Да, сэр. Конечно бывал.

– И в каком же?

– В цирке братьев Ринглингов, – отвечаю я, и тут у меня перехватывает дыхание. Оглянувшись, я вижу, что Граф предостерегающе прищуривается.

– Но это была скучища. Просто скучища, – поспешно добавляю я, повернувшись обратно к Дядюшке Элу.

– Правда? – спрашивает он.

– Да, сэр.

– А ты видел наше представление, Якоб?

– Да, сэ́р, – говорю я и чувствую, что краснею.

– И что же ты о нем думаешь?

– Ну, оно было... великолепно!

– И какой же номер тебе больше всего понравился?

Я отчаянно соображаю, пытаюсь придумать хоть что-нибудь.

– С воронами и белыми лошаdkами. Там еще была девушка в розовом, – продолжаю я. – С блескками.

– Слышал, Август? Мальчику понравилась твоя Марлена.

Человек напротив Дядюшки Эла поднимается и поворачивается ко мне. Именно его я видел в зверинце, только сейчас он без цилиндра. На его точеном лице застыло бесстрастное выражение, темные волосы напوماжены. У него тоже усы, но, в отличие от усов Дядюшки Эла, коротко остриженные.

– И чем же ты собирался здесь заняться? – спрашивает Дядюшка Эл, поднимая со стола рюмку и выпивая ее содержимое одним глотком. Откуда ни возьмись появляется официант и вновь ее наполняет.

– Я могу делать что угодно. Но, если можно, я бы хотел работать с животными.

– С животными, – повторяет он. – Слышал, Август? Парнишке охота работать с животными. Небось воду для слонов носить хочешь?

Граф недоуменно поднимает брови.

– Но, сэ́р, у нас ведь нет...

– Заткнись! – кричит Дядюшка Эл, вскакивая на ноги. Рукавом он задевает рюмку, и та падает на пол. Он смотрит на нее, и лицо его наливается кровью. Сжав зубы и испустив долгий, нечеловеческий вопль, он принимается методично топтать стекло.

Все молчат, только и слышно что постукивание колес. Официант опускается на колени и собирает осколки.

Глубоко вдохнув, Дядюшка Эл отворачивается к окну, заложив руки за спину. Когда он вновь поворачивается к нам, лицо его обретает прежний цвет, а на губах играет ухмылка.

– Так вот что я тебе скажу, Якоб Янковский, – с отворачиванием выговаривает он мое имя. – Я таких встречал тыщу раз, не меньше. Да я тебя насквозь вижу. Что же у нас случилось? Поссорился с мамочкой? Или решил поразвлечься между семестрами?

– Нет, сэръ, ни в коей мере.

– Да какая мне, к черту, разница, что там у тебя. Если я дам тебе работу в цирке, ты же тут и недели не продержишься. И даже дня. Цирк – та еще махина, тут выживают только самые стойкие. Но что-то ты не кажешься мне стойким, а, мистер Студент?

Он пялится на меня так, словно хочет добиться ответа.

– А теперь пошел вон! – говорит он, отмахиваясь от меня рукой. – Граф, выкини его с поезда. Только дождись красного сигнала семафора – я не хочу, чтобы у меня были неприятности из-за маменькина сыночка.

– Постой-ка, Эл, – говорит, ухмыляясь, Август. Вся эта история явно его развеселила. Он поворачивается ко мне. – Он прав? Ты студент?

Я чувствую себя теннисным мячиком.

– Бывший.

– И что же ты изучал? Наверняка ведь что-то из области изящных искусств? – глумится он, и глаза у него аж светятся от удовольствия. – Румынские народные танцы? Литературно-критические труды Аристотеля? А может, мистер Янковский, вы у нас дипломированный аккордеонист?

– Я изучал ветеринарию.

В мгновение ока выражение его лица полностью меняется.

– Ветеринарию? Ты ветеринар?

– Не совсем.

– Что значит «не совсем»?

– Я не сдавал выпускных экзаменов.

– Почему?

– Просто не сдавал, и все.

– Но ты полностью прослушал курс?

– Да.

– А в каком университете?

– В Корнелле.

Август и Дядюшка Эл переглядываются.

– Марлена говорила, что Серебряный приболел, – произносит Август. – Просила меня передать антрепренеру, чтобы пригласил ветеринара. Не понимает, что антрепренер всегда

сваливает первым, такая уж у него работа.

– И что ты предлагаешь? – спрашивает Дядюшка Эл.

– Пусть мальчик утром его посмотрит.

– А куда мы его денем на ночь? У нас же и так нет места. –

Он хватает из пепельницы сигару и принимается постукивать по ней пальцами. – Может, отправим с квартирьерами?

– А может, пусть лучше спит в вагоне для лошадей?

Дядюшка Эл хмурится.

– Что, с Марлениными лошадами?

– Ну да.

– Там, где у нас раньше были козлы? И где сейчас спит этот... ну, как же его... – Он щелкает пальцами. – Стинко? Кинко? Ну, клоун с собакой?

– Именно, – улыбается Август.

Август ведет меня через спальные вагоны для рабочих, пока мы не оказывается на маленькой площадке, за которой следует вагон для лошадей.

– Ты твердо стоишь на ногах, Якоб? – снисходительно интересуется он.

– Думаю, да, – отвечаю я.

– Вот и славно. – И без лишних слов он, склонившись пониже, хватается за какой-то выступ сбоку от вагона и легко взбирается прямо на крышу.

– Господи Иисусе! – восклицаю я, беспокойно глядя сперва туда, где исчез Август, а потом вниз, на стык между ваго-

нами и на мелькающие под ним рельсы. Поезд резко поворачивает, и я, тяжело дыша, выбрасываю вперед руки, чтобы не упасть.

– Ну, давай же! – доносится откуда-то сверху голос.

– Но как, черт возьми, вам это удалось? За что вы хватались?

– Там лесенка. Вон там, сбоку. Наклонись и вытяни руку – не промахнешься.

– А если промахнусь?

– Тогда, думаю, нам придется попрощаться.

Я робко приближаюсь к краю площадки и вижу самый уголок тонкой железной лестницы.

Приглядевшись, я вытираю руки о штаны. И прыгаю вперед.

Правой рукой мне удастся зацепиться за лесенку. Я отчаянно хватаю воздух левой, пока не дотягиваюсь и ею. Подтянув ноги к ступенькам, я висну на лесенке и пытаюсь перевести дух.

– Ну, давай же, давай!

Август смотрит на меня сверху вниз, ухмыляясь, а волосы его развеваются на ветру.

Мне наконец удается вскарабкаться на крышу, и Август, подвинувшись, уступает мне место и, когда я сажусь, кладет мне руку на плечо.

– Повернись. Хочу тебе кое-что показать.

Какой же он длинный, этот поезд! Тянется вдаль, словно

гигантская змея, а сцепленные вагоны повизгивают и выгибаются на повороте.

– Красота-то какая, верно, Якоб? – говорит Август. Я оглядываюсь и вижу, что он смотрит горящими глазами прямо на меня. – Хотя, конечно, моя Марлена куда красивее. – Он прищелкивает языком и подмигивает.

Не успеваю я ответить, как он вскакивает и принимается отбивать чечетку прямо на крыше вагона.

Вытянув шею, я пересчитываю вагоны для лошадей. Их не меньше шести.

– Август!

– Что? – спрашивает он, останавливаясь.

– А в каком вагоне Кинко?

Он внезапно приседает.

– Вот в этом самом. Что, повезло тебе, малыш?

Подняв вентиляционную крышку, он исчезает.

Я поскорее встаю на четвереньки.

– Август!

– Ну что тебе? – доносится из темноты.

– Здесь есть лестница?

– Нет, прыгай так.

Повиснув на кончиках пальцев, я наконец разжимаю их и обрушиваюсь на пол. Меня встречает удивленное ржание.

Тонкий лучик лунного света освещает обшитые досками стены вагона. По одну сторону от меня стоят лошади, а другая отгорожена самодельной стеной.

Шагнув вперед, Август толкает дверь, которая ударяется о противоположную стену, и перед нами открывается комнатка, залитая светом керосиновой лампы. Лампа стоит на перевернутом ящике, рядом с ней – раскладушка, на которой лежит на животе карлик и читает толстую книгу. Он примерно мой ровесник и такой же рыжий, но, в отличие от моих, его волосы в беспорядке топорщатся на макушке, словно солома, а лицо, шея и руки просто испещрены веснушками.

– Кинко! – с отвращением окликает его Август.

– Август! – с не меньшим отвращением отвечает Кинко.

– Это Якоб, – говорит Август, обходя комнатку и проводя пальцами по наполняющим ее вещам. – Он поживет у тебя тут немного.

Я делаю шаг вперед и протягиваю ему руку:

– Здравствуйте!

Он равнодушно пожимает мне руку и переводит взгляд на Августа.

– А кто он такой?

– Его зовут Якоб.

– Я спрашиваю, не как его зовут, а кто он такой.

– Он будет работать в зверинце.

Кинко вскакивает с раскладушки.

– В зверинце? Нет уж, увольте. Я артист. Чего это я буду жить с рабочим из зверинца?

За его спиной раздается рычание – и на раскладушке появляется джек-рассел-терьер со вздыбленной на загривке

шерстью.

– Я главный управляющий зверинцем и конным цирком, – медленно произносит Август. – Лишь по моей милости тебе позволено здесь спать, и лишь по моей милости весь этот вагон не забит подсобными рабочими. Собственно говоря, это дело поправимое. Между прочим, этот джентльмен – наш новый ветеринар, причем ни больше ни меньше как из Корнелла, что ставит его в моих глазах куда выше, чем тебя. Пожалуй, тебе стоит подумать о том, чтобы предложить ему свою раскладушку. – В глазах Августа пляшут отсветы керосиновой лампы, а губа подрагивает в тусклом свете.

Миг спустя он поворачивается ко мне и низко кланяется, щелкнув пятками.

– Спокойной ночи, Якоб. Надеюсь, Кинко позаботится, чтобы тебе было удобно.

Кинко бросает на него угрюмый взгляд.

Август приглаживает ладонями волосы и выходит, хлопнув дверью. Пока над нами слышатся его шаги, я таращусь на грубо отесанное дерево. А потом поворачиваюсь.

Кинко и собака глядят на меня в упор. Собака обнажает зубы и рычит.

Ночь я провожу на мятой попоне у стены – какая уж тут раскладушка? Попона к тому же еще и сырая. Кто бы ни сработал из досок эту комнатку, особых стараний он явно не приложил: на мою попону и дождь пролился, и роса выпала.

Я вздрагиваю и просыпаюсь. Руки и шея расчесаны до крови. Не знаю, то ли дело в конском волосе, то ли меня покусали блохи, да и знать не хочу. В щелях между досками видно темное ночное небо, а поезд все еще катится.

Меня разбудил сон, но подробностей не помню. Закрыв глаза, я принимаюсь копать в отдаленных уголках памяти.

Вот мама. Она стоит во дворе в синем платье с подсолнухами и развешивает на веревке белье. Во рту у нее деревянные прищепки, на переднике тоже, а в руках простыня. Мама тихонько напевает по-польски.

Вспышка.

Я лежу на полу и глазею на свисающие надо мной груди стриптизерши. Ее коричневые соски размером с оладьи раскачиваются кругами, туда-сюда – ШЛЕП! Туда-сюда – ШЛЕП! Сперва меня охватывает возбуждение, потом угрызения совести, потом начинает тошнить.

А потом я...

Я...

Глава 5

Я разнюнился как старый дурак.

Должно быть, я уснул. Готов поклясться, миг тому назад мне было двадцать три – а тут вдруг это жалкое иссохшее тело.

Я всхлипываю и вытираю дурацкие слезы, пытаюсь взять себя в руки: ведь та пухленькая девушка в розовом снова здесь. Не то она снова дежурит, не то я уже окончательно потерял счет дням. Хотел бы я знать, как оно на самом деле.

А еще хотел бы припомнить, как ее зовут, но не могу. Вот что значит девяносто лет. Или девяносто три.

– Доброе утро, мистер Янковский! – приветствует меня сиделка, включая свет. Подойдя к окну, она приподнимает жалюзи и впускает в комнату солнце. – Подъем – встаем.

– А смысл? – бормочу я.

– А смысл в том, что Господь соизволил даровать вам еще один день, – отвечает она, подходя к моей кровати и нажимая кнопку на поручне. Кровать начинает жужжать. Мгновение спустя я уже не лежу, а сижу. – Кроме того, завтра вы идете в цирк.

В цирк! Стало быть, со счета я все же не сбился.

Надев на градусник одноразовый колпачок, она вставляет его мне в ухо. Так меня тычут и тормозят каждое утро. Я чувствую себя извлеченным из глубин морозильника куском

мяса, про которое пока не решили, протухло оно или еще нет.

Градусник пищит, сиделка бросает одноразовый колпачок в мусорную корзину и записывает что-то в моей карте, а затем достает из шкафчика прибор для измерения давления.

– Ну что, будете завтракать в столовой – или принести вам что-нибудь сюда? – спрашивает она, обернув манжету вокруг моей руки и накачивая воздух.

– Не буду я завтракать.

– Как же так, мистер Янковский? – говорит она, прижимая стетоскоп к внутренней стороне моего локтя и следя за шкалой прибора. – Вам нужны силы.

Я пытаюсь прочесть, как ее зовут.

– А зачем? Мне разве бежать марафон?

– Нет, но если вы разболеетесь, то не попадете в цирк, – отвечает она. Выпустив воздух из манжеты, она снимает прибор с моей руки и убирает в шкаф.

Наконец-то мне удается прочесть ее имя!

– Тогда я позавтракаю здесь, Розмари, – говорю я. Пусть думает, что я помню, как ее зовут. Делать вид, что с головой у тебя все в порядке, не так-то просто, но важно. В конце концов, я еще не окончательно спятил. Просто мне приходится держать в голове больше, чем другим.

– Однако, скажу я вам, вы сильны, как бык. – Она закрывает карту, записав туда что-то напоследок. – Если малость поднаберете веса, ей-богу, доживете до ста лет, не меньше.

– Шикарно! – отвечаю я.

Когда Розмари возвращается, чтобы вывезти меня в коридор, я прошу ее прокатить меня до окна. Вот бы взглянуть, что делается в парке!

Погода стоит чудесная, сквозь пухлые кучевые облачка светит солнце. Оно и к лучшему – я слишком хорошо помню, каково разбивать балаган в ненастье. Времена, конечно, нынче не те. Интересно, называют ли их еще разнорабочими. Да и живут они наверняка в куда как более сносных условиях. Нет, вы только взгляните на эти домики на колесах – у них есть даже портативные телеантенны!

Вскоре после ланча первые кресла-каталки со здешними обитателями в сопровождении родственников начинают тянуться в сторону парка. Минут десять спустя там уже целый поезд. Вот Рути, а за ней – Нелли Комптон. И зачем ее только туда везут? Она же ничегошеньки не соображает. А вот Дорис. А это, должно быть, ее Рэндалл, о котором она нам все уши прожужжала. А вот и старый козел Макгинти. Весь надулся, как индюк, на коленях шотландский плед, а вокруг суетятся родственники. Вешает им лапшу на уши про слонов, не иначе.

Перед шапито выстроились в ряд великолепные першероны, ослепительно-белые. Может, они участвуют в вольтижировке? Лошади в вольтижировке всегда белые, чтобы не было заметно канифоли, без которой наездники не удержались бы на их спинах стоя.

Но даже если лошадки выступают без наездников, все равно их номер наверняка в подметки не годится Марлениному. Никто и ничто в мире не сравнится с Марленой.

Я ищу слона, заранее опасаясь и предчувствуя разочарование.

Ближе к вечеру паровозик возвращается. К креслам привязаны воздушные шары, на головах дурацкие колпаки. У некоторых на коленях пакеты с сахарной ватой. Пакеты! Знали бы они, что эта вата может быть недельной давности. В мое-то время она была свежая, ее делали и наматывали на палочку прямо на глазах у покупателя.

В пять часов в конце вестибюля появляется тощая сиделка с лошадиным лицом.

– Мистер Янковский, обедать будете? – спрашивает она, снимая кресло-каталку с тормозов и разворачивая на сто восемьдесят градусов.

– Грррррм, – недовольно рычу я, ведь она даже не дождалась моего ответа.

Когда мы въезжаем в столовую, она везет меня к моему обычному месту.

– Постойте-ка, – говорю я, – я не хочу сегодня здесь сидеть.

– Не волнуйтесь, мистер Янковский, – отвечает она. – Наверняка мистер Макгинти вас простил.

– Да, но я его не простил. Лучше я сяду вон там, – говорю

я, указывая на другой стол.

– Но там никто не сидит.

– Вот и отлично.

– Ох, мистер Янковский. Почему бы вам...

– Да отвезите же меня, куда я прошу, черт возьми!

Кресло останавливается, за моей спиной воцаряется молчание, и миг спустя мы вновь начинаем двигаться. Сиделка подвозит меня к столу, на который я указал, и уходит. Когда она возвращается, чтобы швырнуть передо мной тарелку, губы у нее чопорно поджаты.

Когда сидишь за столом в одиночку, хуже всего то, что приходится выслушивать разговоры за соседними столиками. Я не подслушиваю. Я просто ничего не могу с собой поделать. Большинство говорят о цирке, оно и ладно. Не ладно то, что старый хрыч Макгинти сидит за *моим* столом, с *моими* подружками и держится царственно, словно король Артур. Но и это еще не все, – похоже, он сказал кому-то в цирке, что носил воду для слонов, и ему отвели место рядом с манежем. Уму непостижимо! И вот он сидит и болтает без умолку о том, как все были к нему внимательны, а Хейзл, Дорис и Норма смотрят на него с открытыми ртами.

Я больше не в силах этого терпеть. Взглянув на тарелку, я обнаруживаю там нечто тушеное в бледной подливке, а на десерт – желе, все в оспинках.

– Сиделка! – рычу я. – Эй, сиделка!

Одна из них смотрит в мою сторону и встречается со мной

глазами. Поняв, что я не при смерти, она особо не торопится.

– Слушаю вас, мистер Янковский!

– Можете принести мне человеческой еды?

– Чего, простите?

– Человеческой еды. Ну, знаете, того, что едят нормальные люди.

– Ох, мистер Янковский...

– Девушка, оставьте вы эти «Ох, мистер Янковский». Это еда для младенцев, а мне уже давно не пять лет. Мне девяносто. Или девяносто три.

– Почему это для младенцев?

– А потому. Вы только взгляните, это же размазня какая-то, – отвечаю я, тыча вилкой в кучку, сдобренную подливкой. Кучка обваливается и превращается в месиво, а на вилке остается только подливка. – И вы называете это едой? Я хочу что-нибудь, что можно было бы пожевать. Что-нибудь хрустящее. А это, позвольте узнать, что такое? – вопрошаю я, тыча в красный комок желе. Он отчаянно дрожит, словно женская грудь.

– Это салат.

– Салат?! Покажите-ка мне, где здесь овощи. Что-то я не вижу овощей.

– Это фруктовый салат, – отвечает она, не теряя невозмутимости, но чуть повысив голос.

– Что-то я не вижу фруктов.

– А я вижу, к вашему сведению, – говорит она и указывает

на одну из оспин. – Вот. И вот. Вот кусочек банана. А вот виноград. Почему бы вам не попробовать?

– А почему бы вам не попробовать?

Она скрещивает руки на груди. Ага, похоже, наша классная дама вышла из себя.

– Эта пища предназначена специально для здешних обитателей. Ее разрабатывали диетологи, специализирующиеся на геронтологии...

– Но я этого не хочу. Хочу настоящей еды.

Мертвая тишина. Я оглядываюсь по сторонам. Все взоры прикованы ко мне.

– А что? – громко говорю я. – Неужто я хочу слишком многого? Неужто больше никто не скучает по настоящей еде? Да разве вам может нравиться эта... эта... кашка? – Я кладу руку на край тарелки и отталкиваю ее от себя.

Совсем легонько.

Честное слово.

Тарелка летит через весь стол и падает на пол.

Вызывают доктора Рашид. Она присаживается на край моей постели и задает вопросы, на которые я стараюсь отвечать вежливо. Но я так не люблю, когда со мной обращаются как с последним идиотом, что, боюсь, веду себя несколько раздражительно.

Полчаса спустя она просит сиделку выйти с ней в коридор. Я пытаюсь расслышать, о чем они говорят, но мои старые

уши, хоть и достигли поистине непристойных размеров, не улавливают ничего, кроме отдельных обрывков: «тяжелая, тяжелая депрессия...» и «проявляющая себя в агрессии, что нередко бывает у пациентов пожилого возраста...».

– Послушайте, я же не глухой! – кричу я из постели. – Только старый.

Доктор Рашид бросает на меня недоуменный взгляд и берет сиделку под локоток. Они удаляются по вестибюлю, и я перестаю их слышать.

Вечером в моем бумажном стаканчике появляется новая таблетка. Я замечаю ее, только высыпав все содержимое стаканчика на ладонь.

– А это еще что такое? – интересуюсь я, разглядывая ее со всех сторон, а потом переворачиваю и смотрю, что у нее на обороте.

– Где? – спрашивает сиделка.

– Вот. – Я тычу в непонятно откуда взявшуюся таблетку. – Вот эта, справа. Такой раньше не было.

– Это элавил.

– А от чего она?

– Чтобы вы лучше себя чувствовали.

– От чего она? – повторяю я.

Она не говорит. Я смотрю на нее в упор.

– От депрессии, – наконец отвечает она.

– Я не буду ее принимать.

– Мистер Янковский...

– У меня нет депрессии.

– Эту таблетку прописала доктор Рашид. Она...

– Вы хотите меня одурманить. Чтобы я превратился в смирную желеядную овечку. Но уверяю вас, я не буду ее принимать.

– Мистер Янковский, у меня еще двенадцать пациентов. Прошу вас, примите наконец свои таблетки.

– А я думал, мы не пациенты.

Все до единой черты ее лица заметно напрягаются.

– Я приму все, кроме этой, – говорю я, сталкивая таблетку с ладони. Она летит и приземляется на пол. Остальные я закидываю в рот.

– А где вода? – Я невольно коверкаю слова, пытаюсь удержать таблетки на языке.

Она подает мне пластиковый стаканчик, поднимает таблетку с пола и уходит в уборную. Я слышу звук спускаемой воды. И вот она снова здесь.

– Мистер Янковский, сейчас я принесу вам еще таблетку элавила, а если вы не станете ее глотать, позову доктора Рашид, и она пропишет вам укол. Так или иначе, но элавил вы примете. Вам решать, каким именно способом.

Когда она снова приносит таблетку, я ее честно глотаю. Через четверть часа мне делают укол – не элавил, что-то еще, но все равно это нечестно, ведь я же принял их чертову таблетку.

Минута-другая – и вот я уже смиренная желеядная овечка. Может, и не желеядная, но, во всяком случае, овечка. Впрочем, я еще помню, из-за чего меня постигла эта участь, и понимаю, что, принеси кто-нибудь сейчас их желе в оспинках и прикажи его съесть, я бы съел.

Что они со мной сделали?

Я цепляюсь за свой гнев всеми фибрами души, чудом удерживающейся в этом разрушенном теле. Но гнев отступает, словно откатывающаяся от берега волна. Я отмечаю сей прискорбный факт и понимаю, что мой разум погружается в сон. Сон уже давно здесь, он ждет своего часа и постепенно вступает в права. Я перестаю сердиться, сейчас это не более чем условность – лишь думаю, как бы не забыть разозлиться завтра с утра пораньше. А потом позволяю дремоте себя одолеть – все равно ее не перебороть.

Глава 6

Поезд со стоном тормозит. Еще несколько мгновений – и огромный железный зверь, испустив последний протяжный крик, вздрагивает и останавливается.

Кинко отбрасывает одеяло и вскакивает. Росту в нем не больше четырех футов, а то и меньше. Он потягивается, зевает, причмокивает и принимается чесать голову, подмышки и промежность. Собака прыгает у его ног, бешено виляя обрубком хвоста.

– Иди сюда, Дамка, девочка моя! – говорит он и берет ее на руки. – Хочешь погулять? Дамка хочет погулять?

Он целует собаку в коричнево-белый лоб и пересекает комнату.

Я смотрю на него из угла, со своей скомканной попоны.

– Кинко?

Если бы он не хлопнул дверь с такой сокрушительной силой, я бы подумал, что он меня не слышал.

Мы стоим на запасных путях прямо за Передовым отрядом, который, судя по всему, здесь уже не первый час. Палаточный город уже воздвигнут, к радости слоняющихся во-круг зевак. На крыше Передового отряда сидит целая куча ребятишек, наблюдающих за происходящим горящими глазами. Их родители толпятся внизу, держа за руки малышкой

и показывая им понаехавшие в город чудеса.

Из спальных вагонов основного состава вылезают рабочие, зажигают сигареты и тянутся через площадь к кухне. Оранжево-синий флаг полощется на ветру, а из котла поднимается пар, – стало быть, завтрак уже ждет.

Из куда более удобных спальных вагонов в хвосте поезда выбираются артисты. Налицо иерархия: чем ближе к хвосту, тем лучше вагоны. Из вагона прямо перед тормозным выходит сам Дядюшка Эл. А мы с Кинко, невольно замечаю я, ближе всех к тепловозу.

– Якоб!

Я оборачиваюсь. Ко мне спешит Август. На нем накрахмаленная рубашка, подбородок чисто выбрит, а прилизанные волосы явно несут на себе следы расчески.

– И как у нас сегодня дела, мальчик мой?

– В порядке, – отвечаю я. – Только подустал.

– А наш маленький тролль тебя не донимал?

– Нет, нисколько.

– Вот и славно. – Он потирает руки. – Ну что, пойдём взглянем на лошадку? Вряд ли там что-то серьезное. Марлена так с ними нянчится! А вот и она. Поди-ка сюда, дорогая! – кричит он. – Хочу познакомить тебя с Якобом. Он твой поклонник.

Я чувствую, как краснею.

Она останавливается рядом с Августом и улыбается мне, едва только тот отворачивается к вагонам для перевозки ло-

шадей.

– Приятно познакомиться, – говорит Марлена, протягивая мне руку. Даже вблизи она удивительно похожа на Кэтрин: тонкие черты лица, эта фарфоровая бледность, россыпь веснушек на переносице, блестящие голубые глаза, а волосы лишь самую малость темнее, чем у блондинок.

– И мне тоже, – отвечаю я, с ужасом осознавая, что два дня не брился, что одежда моя перепачкана в навозе и что пахнет от меня, увы, не только навозом.

Она едва заметно вскидывает голову:

– Скажите, а мы не виделись вчера? В зверинце?

– Едва ли, – инстинктивно вру я.

– Да точно виделись. Прямо перед представлением. Помните, тогда еще захлопнулась клетка с шимпанзе.

Я бросаю взгляд на Августа, но он смотрит в другую сторону. Она перехватывает мой взгляд и, кажется, все понимает.

– А вы не из Бостона? – спрашивает она, понизив голос.

– Нет, и никогда там не был.

– Гм, ваше лицо показалось мне знакомым. Ах да, – продолжает она громко, – Агги рассказывал, что вы ветеринар.

Услышав свое имя, Август поворачивается к нам.

– Нет, – говорю я, – то есть не совсем.

– Это он скромничает, – говорит Август. – Пит! Эй, Пит!

Группа рабочих приделывает к вагону для перевозки лошадей сходни с бортиками. На зов откликается высокий тем-

новолосый рабочий:

– Да, шеф?

– Выгрузи-ка остальных лошадок и приведи нам Серебряного.

– Будет сделано.

Выведя одиннадцать лошадей, пять белых и шесть вороных, Пит снова заходит в вагон и тут же возвращается.

– Серебряный отказывается идти, сэр.

– Так заставь, – говорит Август.

– Нет-нет, ни в коем случае, – встречает Марлена, бросив на Августа сердитый взгляд, и, поднявшись по сходням, исчезает в вагоне.

Мы ждем снаружи, слушая страстные мольбы и пощелкивания языком. Через несколько минут она появляется в дверном проеме, ведя за собой арабского жеребца с серебряной гривой.

Шагая перед ним, Марлена что-то шепчет и цокает языком, а он вздымает голову и отступает вглубь вагона. Потом он спускается вслед за ней, сильно мотая головой, а под конец тянет ее назад с такой силой, что чуть ли не садится.

– Господи, Марлена, ты же говорила, что он лишь приболел, – удивляется Август.

Лицо Марлены становится мертвенно-бледным.

– Ну да, ему слегка нездоровилось. Но вчера все было не так плохо. Он уже несколько дней как прихрамывает, но не настолько же.

Марлена прищелкивает языком и тянет повод до тех пор, пока конь наконец не сходит на насыпь. Он стоит, изогнув спину от боли и пытаюсь перенести весь свой вес на задние ноги. У меня аж душа уходит в пятки. Это же классическая ревматика.

– Как ты думаешь, что с ним? – спрашивает Август.

– Минуточку, – отвечаю я, хотя уверен на девяносто девять процентов. – У вас есть копытные клещи?

– Нет. У кузнеца есть. Может, послать Пита?

– Погодите. Возможно, я обойдусь.

Я сажусь на корточки у левой ноги коня и провожу по ней руками от холки до путового сустава. Конь даже не вздрагивает. Тогда я прикладываю ладонь к передней части копыта. Оно все горит. Большим и указательным пальцами измеряю пульс. Сердце у коня колотится со страшной силой.

– Вот черт, – говорю я.

– Что с ним? – спрашивает Марлена.

Выпрямившись, я протягиваю руку к копыту Серебряного. Но конь не отрывает ногу от земли.

– Давай-давай, дружок! – тяну я к себе его копыто.

Наконец он поднимает ногу. Подошва опухла и потемнела, по краю идет красная полоска. Я тут же опускаю копыто на землю.

– Конь у вас захромал.

– Боже праведный! – Марлена зажимает рот ладонью.

– Что? – переспрашивает Август. – Что с ним стряслось?

– Захромал, – повторяю я. – Так бывает, когда соединительная ткань между копытом и копытной костью разрушается, и копытная кость поворачивается в сторону подошвы.

– А теперь на нормальном человеческом языке. Дело плохо?

Я перевожу взгляд на Марлену, которая не отнимает ладони ото рта.

– Да.

– А вылечить сможешь?

– Надо укутать его потеплее и сделать так, чтобы он не касался ногами земли. И кормить только травой, а не овсом. И избавить от работы.

– Но вылечить-то сможешь?

Я медлю, вновь украдкой взглянув на Марлену.

– Не уверен.

Август глядит на Серебряного и недовольно пыхтит.

– Так, так, так, – гудит позади знакомый голос. – А вот и наш собственный звериный доктор!

Напоказ помахивая тростью с серебряным набалдашником, к нам приближается Дядюшка Эл в малиновом жилете и штанах в шахматную клетку. За ним тянется группка прихвостней.

– И что говорит наш коновал? Вылечил лошадку-то? – жизнерадостно спрашивает он, остановившись прямо передо мной.

– Не вполне, – отвечаю я.

– А в чем дело?

– Тут все ясно, он захромал, – поясняет Август.

– Он что? – повторяет Дядюшка Эл.

– Копыта не в порядке.

Наклонившись, Дядюшка Эл разглядывает копыта Серебряного.

– А по-моему, все с ними в порядке.

– Не все, – говорю я.

Он поворачивается ко мне:

– И что ты предлагаешь?

– Отправить его отдыхать и заменить овес на траву. Больше мы особо ничем не поможем.

– Об отдыхе даже не заикайся. Это же ведущая лошадь!

– Если заставить эту лошадь работать, копытная кость будет вертеться до тех пор, пока не проткнет подошву, и тогда мы его точно потеряем, – прямо заявляю я.

Дядюшка Эл моргает и смотрит на Марлену.

– И надолго он выйдет из строя?

Я медлю, тщательно взвешивая слова.

– Возможно, навсегда.

– Будьте вы прокляты! – орет он, вонзая трость в землю. – И где, черт возьми, я найду другую такую лошадку в разгар сезона?! – Он оглядывается на своих прихвостней.

Те пожимают плечами, бормочут и отводят глаза.

– Эх вы, балбесы! Зачем я только вас держу? Ладно, ты. – Он тычет пальцем в меня. – Ты принят. Вылечи эту лошад-

ку. Плачу девять баксов в неделю. Отчитываться будешь перед Августом. Не вылечишь – уволен. Любое замечание – и тоже уволен. – Он подходит к Марлене и похлопывает ее по плечу. – Ну-ну, детка, – ласково говорит он, – не волнуйся. Якоб о нем позаботится. Август, пойдика принеси малютке завтрак. Нам пора в путь-дорогу.

Август вскидывает голову:

– Что значит «в путь-дорогу»?

– Ну, мы снимаемся, – отвечает Дядюшка Эл, неопределенно махнув рукой. – Движемся дальше.

– О чем это ты, черт возьми? Мы же только приехали! Даже еще толком не обустроились.

– Планы изменились, Август. Изменились.

Дядюшка Эл со свитой удаляется. Август глядит ему вслед, разинув рот.

По кухне ходят слухи.

– Пару недель назад здесь побывали «Братья Карсон». Собрали все сливки.

– Ха, – фыркает кто-то рядом, – обычно это наша работа!

У сковороды с омлетом:

– Власти прознали, что мы везем бухло. Будет облава.

– Облава будет, верно. Но не из-за бухла, а из-за стриптиза.

У котла с овсянкой:

– В том году Дядюшка Эл впарил шерифу поддельный

чек, когда платил за место. Копы дали нам два часа, чтобы убраться восвояси.

Сутулый Эзра восседает там же, где вчера, скрестив руки и прижав подбородок к груди. На меня он не обращает никакого внимания.

– Тпру, дружище, – останавливает меня Август, когда я направляюсь за брезентовую перегородку, – куда это ты?

– На ту сторону.

– Ерунда, – говорит он. – Ты цирковой ветеринар. Пойдем со мной. Хотя, признаться, велик искус отправить тебя туда – хотел бы я посмотреть, что они скажут.

Вместе с Августом и Марленой я сажусь за один из нарядно накрытых столиков. В нескольких столиках от нас в компании трех карликов сидит Кинко, а у ног его крутится Дамка. Свесив язык набок, она с надеждой смотрит на своего хозяина. Кинко же не обращает внимания ни на нее, ни на соседей по столу – нет, он пялится прямо на меня, угрюмо двигая челюстями.

– Ешь, дорогая, – говорит Август и подвигает к Марлениной тарелке с овсянкой сахарницу. – Не волнуйся. У нас тут настоящий ветеринар.

Я открываю рот, чтобы возразить, но тут же снова его закрываю.

К нам подходит хрупкая блондинка.

– Марлена, милочка! А ну, угадай, что я слышала!

– Привет, Лотти! – отвечает Марлена. – Понятия не имею.

А что случилось?

Лотти присаживается рядом с Марленой и трещит без умолку. Непонятно даже, когда она успевает дышать. Лотти – воздушная гимнастка, а сенсационную новость она узнала, можно сказать, из первых рук – ее партнер слышал, как Дядюшка Эл и антрепренер переругивались перед шапито. Вскоре вокруг нашего стола собирается толпа, и между обрывками пикантных новостей, которыми Лотти обменивается с подошедшими, я успеваю прослушать краткий курс истории Алана Дж. Бункеля и «Самого великолепного на земле цирка Братьев Бензини».

Дядюшка Эл – гриф, стервятник, падальщик. Пятнадцать лет назад он был управляющим бродячим цирком – труппой, состоявшей из измученного пеллагрой⁷ сброда, таскавшегося из города в город на жалких клячах с подгнившими копытами.

В августе 1928 года, безо всякого участия дельцов с Уолл-стрит, прогорел «Самый великолепный на земле цирк Братьев Бензини». У его владельцев просто кончились деньги, и они не смогли перебраться в следующий город, не говоря уже о зимних квартирах. Главный управляющий «Братьев Бензини» вскочил на проходящий поезд, бросив всех и вся – и людей, и снаряжение, и животных.

Дядюшке Элу повезло: он как раз был неподалеку, и ему удалось купить спальный вагон и два вагона-платформы.

⁷ Кожное заболевание (дерматит) вызванное недостатком витаминов.

мы за бесценно у железнодорожников, которые уже отчаялись освободить запасный путь. На платформах отлично поместилась парочка принадлежавших ему ветхих фургонов, а поскольку на вагонах уже была надпись «Самый великолепный на земле цирк Братьев Бензини», Алан Бункель решил названия не трогать, а цирк его официально влился в ряды передвижных.

Когда в 1929 году грянул биржевой крах и большие цирки стали выходить из игры один за другим, Дядюшка Эл просто диву давался, как ему везло. Первыми вылетели в трубу в 1929 году «Братья Джентри» и «Бак Джонс». Год спустя за ними последовали «Братья Коул», «Братья Кристи» и нерушимый «Джон Робинсон». И каждый раз, когда очередной цирк закрывался, Дядюшка Эл был тут как тут, подбирая остатки: где парочку вагонов, где горстку оставшихся без средств артистов, где тигра, где верблюда. И везде у него были лазутчики: чуть только большой цирк начинал испытывать затруднения, Дядюшка Эл получал телеграмму и летел туда на всех парах.

И сейчас «Братьев Бензини» изрядно разнесло. В Миннеаполисе Эл подобрал шесть парадных фургонов и беззубого льва. В Огайо – шпагоглотателя и вагон-платформу. В Де-Мойне – костюмерный шатер, бегемота вместе с вагоном и Милашку Люсинду. В Портленде – восемнадцать тяжеловозов, двух зебр и кузнеца. В Сиэтле – два спальня вагона для рабочих и одного настоящего уroda – бородатую женщину.

И вот тут-то он возликовал, ибо спит и видит, как бы ему за-получить побольше уродов. Но не рукотворных, нет: скажем, его не интересуют ни мужчины, покрытые с головы до ног татуировками, ни женщины, глотающие по просьбе публики бумажники и лампочки, ни белые девушки с африканскими шевелюрами, ни ловкачи, загоняющие спицы в носовые пазухи. Нет, он жаждет настоящих уродов. Уродов от рождения. Именно поэтому мы направляемся в Жолье.

Только что прогорел цирк братьев Фокс, и Дядюшка Эл пришел в бурный восторг, ведь у них работал всемирно известный Чарльз Мэнсфилд-Ливингстон, красавец и щеголь, с растущим из грудной клетки паразитическим близнецом по имени Чез. Он похож на младенца со вжатой в ребра головой. Его наряжают в крошечные костюмчики и черные лакированные туфли, и когда Чарльз гуляет, он держит Чеза за ручку. Ходят даже слухи, что крохотный пенис Чеза ведет себя как у взрослого мужчины.

Дядюшка Эл страстно желает добраться туда, прежде чем Чарльза успеют перехватить. Пусть наши афиши расклеены по всей Саратога-Спрингз, пусть мы должны были провести здесь два дня, и на площадь только что доставили 2200 буханок хлеба, 116 фунтов масла, 360 дюжин яиц, 1570 фунтов мяса, 11 бочонков квашеной капусты, 105 фунтов сахара, 24 ящика апельсинов, 52 фунта свиного сала, 1200 фунтов овощей и 212 банок кофе, пусть за зверинцем свалены тонны сена, репы, свеклы и прочего корма для животных,

пусть сотни горожан толкуются вокруг цирковой площади и наблюдают за происходящим сперва в предвкушении, потом в ошолбенении, а теперь уже и с растущим недовольством – несмотря на все это, мы сворачиваемся и уезжаем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.